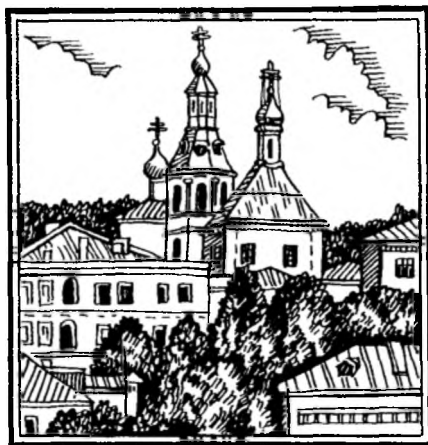


Российская наука и Андреевский монастырь



Е. П. Чельшев,

действительный член РАН

В декабре прошлого года была воссоздана Российская академия наук, наследница учрежденной Петром Великим в 1724 году Императорской Академии наук в Санкт-Петербурге, правопреемница Академии наук СССР. Но российские традиции отечественной науки и образования берут начало не только в Санкт-Петербурге, они зародились значительно раньше.

Создателями и хранителями духовной культуры издавна на Руси являлись православные монастыри. Именно там были обнаружены многие памятники древней письменности. Так, в Ярославском Спасо-Преображенском монастыре была найдена рукопись «Слова о полку Игореве». Н. М. Карамзин, работая над Историей Государства Российского, обнаружил в Троице-Сергиевой Лавре пергаменную рукопись Троицкой летописи, а в Воскресенском монастыре (Новый Иерусалим) нашел ранее неизвестное «Хождение за три моря» тверского купца Афанасия Никитина.

Однако... «время незаметно налагает печать забвения на скромные летописи приходских храмов», — писал около ста лет назад священник Н. И. Молчанов. Одним из монастырей, к сожалению, незаслуженно забытых, стал Андреевский (Преображенский). Пришло время вспомнить об этой обители, «сослужившей, — по словам священника, почетную службу в истории духовного просвещения Московской Руси».

У подножия Воробьевых гор, где Москва-река круто поворачивает влево и несет воды с северо-запада на северо-восток, в двух верстах от города на пути в Киев в живописном лесном урочище с незапамятных времен было расположено село Андреевское. Вместе с небольшой шатровой церковью святого мученика Андрея Стратилата, упоминавшейся еще со времен Ивана Грозного, и построенным позже монастырем это место древнего Подмосковья называлось: «в Пленцах». Предположительно это название объяснено тому, что в подвалах монастырской церкви Воскресения Христова содержались пленники. Однако более достоверной представляется другая расшифровка этого названия. Дело в том, что во время весеннего половодья плотовщики, доставлявшие в город дрова и бревна, на изгибе реки соди няли их в караваны плотов или *пленицы*. Бурная река часто выбрасывала их на берег, образуя вокруг завалы. Возможно, отсюда и произошло такое необычное название.

Места эти связаны с именем государственного и культурного деятеля Федора Михайловича Ртищева (1626–1673), окольного и близкого советника царя Алексея Михайловича. По свидетельству современников, как отмечал В. О. Ключевский, «из всего нравственного запаса, почерпнутого древней Русью из христианства, Ртищев воспитал в себе наиболее трудную и наиболее сродную древнерусскому человеку доблесть – смиренномудрие. Царь Алексей, выросший вместе со Ртищевым, разумеется, не мог не привязаться к такому человеку. Своим влиянием царского любимца Ртищев пользовался, чтобы быть миротворцем при дворе, устранять вражды и столкновения, сдерживать сильных и заносчивых или неуступчивых людей (...) Соединение таких свойств производило впечатление редкого благоразумия и непоколебимой нравственной твердости (...) Для успеха преобразовательного движения было очень важно, что Ртищев стоял на его стороне».

Пользуясь особым доверием и царской милостью, Ф. М. Ртищев открыл в монастыре первую московскую школу. Основной ее задачей было «научение словено-российского народа детей греческой, латинской и славянской грамматике, философии и риторике». Из разных мест России Ртищев написал 30 ученых пноков, а из Киева пригласил знаменитых Елифания Славинецкого и Арсения Сатановского. Преподаватели не только занимались обучением, но и переводили на русский язык иностранные книги. Этот меценат и благотворитель выстроил на свои средства храм Преображения Господня и учредил в 1648 году «училищный монастырь ради во оном монастыре российского рода во просвещении свободных мудростей учения». В нем могли по царскому указу поселиться только «учительные люди», знавшие языки и науки. Во главе просветительского кружка, именовавшегося «Ртищевским Братством», стал Елифаний Славинецкий.

Члены «Братства» внесли значительный вклад в развитие общественной мысли, богословия и гуманитарных знаний. Обязанный выполнять днем службу при царском дворе, Ртищев проводил ночи в Андреевском монастыре, обсуждая находившиеся в центре внимания гуманистов и ре-

форматоров того времени вопросы просвещения, участвуя в диспутах с учеными монахами о соотношении веры и знания. Постоянным участником таких дискуссий был известный богослов и мыслитель, дядя Ртищева архимандрит Покровского монастыря Спиридон Потемкин, защищавший православие в полемике с католиками и униатами, выступавший за единение всех славян. В конце 1663 – начале 1664 года к «Ртищевскому Братству» был близок возвращенный на короткое время из ссылки протопоп Аввакум. Позже, в июне 1667 года вместе с единомышленниками его привозили в Андреевский монастырь никонианцы «для увещания пенокорных раскольников».

Основная задача, которую должны были выполнять члены «Ртищевского Братства», заключалась в переводе и комментировании Библии и святоотеческой литературы. По просьбе Ртищева Епифаний Славинецкий составил «Триглоссон» – словарь славяно-латино-греческий, включающий около 7000 слов, который использовался в работе над славянской Библией, исправляемой не по славянским рукописям, как делалось раньше, а по греческому тексту, по сличению церковных книг с греческими подлинниками. Там издавались также оригинальные сочинения и переводы книг светского содержания, например, «Уставы гражданоправительные», «Гражданство и обучение нравов детских», «Географии две части – Европа и Азия», и др.

Важным вкладом в развитие русской духовной культуры явилось восстановление в Андреевском монастыре обычая церковной проповеди, почти исчезнувшего на Руси во время монгольского ига. Живое, доходчивое слово, изустное напутствие и поучение пришли на смену чтению святоотеческой и житийной литературы; раньше, чем где-либо на Руси, здесь ввели в церковной службе единогласие вместо многоголосия.

Религиозно-реформаторская и просветительская деятельность, развернувшаяся в 50–60-х годах XVII века в Андреевском монастыре, встречала в то время не только сочувствие, но и недоверие, а зачастую и враждебное отношение. Прежде всего из-за новизны предметов изучения и обучения: «другие заподозрили в этих новых веяниях нечто зловерное», – отмечал Н. П. Козловский в «Русском архиве» (№ 9 за 1906 год). Тем не менее, как утверждал Н. И. Молчанов, «нужно было начать серьезную борьбу с темной властью опасного невежества (...) Успехом в этой борьбе с закоспелым невежеством Москва всецело обязана Ртищевскому Братству (...) первые семена науки не заглохли бесследно, несмотря на то, что это время в отношении просвещения было весьма печальное, когда „хитрость грамматическую и философство книжное“ считали многие еретичеством. И в такую-то пору блеснул первый свет науки, сначала в глухой загородной обители, а оттуда постепенно (...) проник в центр города».

Вряд ли Ртищеву было возможно осуществить свой замысел без поддержки царя, сочувственно относившегося ко всем его начинаниям, посетившего Андреевский монастырь, «жаловавшего святую обитель от своих щедрот». Поэтому, высоко оценивая ту роль, которую сыграл Петр

Великий в учреждении Российской академии наук, нельзя забывать, что первый камень в ее фундамент был заложен в Москве с благословения царя Алексея Михайловича, его отца.

Около 20 лет просуществовало духовное училище в стенах Андреевского монастыря, затем ученые старцы были переведены в другие московские монастыри, где были образованы духовные школы, а в 1687 году на основе Андреевской школы в Заиконоспасском монастыре, в Китай-городе, возникло первое высшее учебное заведение – Славяно-греко-латинская Академия, слушателем которой в 1730 году стал М. В. Ломоносов. В 1814 году Славяно-греко-латинская Академия была преобразована в Московскую духовную Академию и переведена в Троице-Сергиеву Лавру. Так что Андреевская школа не умерла. Она «...продолжала существовать и работать и пользоваться поддержкой своих почитателей», – отмечалось в публикации, посвященной 300-летию Андреевского монастыря в Журнале Московской патриархии (1947. № 9).

В 1765 году Андреевский монастырь был упразднен, но, верный ртищевским заветам, он продолжал оставаться «очагом благотворительности». В его стенах одно благотворительное учреждение последовательно сменяло другое. До 1924 года продолжала действовать монастырская церковь. Всего на территории монастыря находятся три ныне бездействующих храма: соборная церковь Воскресения Христова (1689–1703), надвратная церковь Андрея Стратилата (1675) и церковь-колокольня Иоанна Богослова (1748).

Знаменательно, что новое здание Российской академии наук на Ленинском проспекте, дом 32А, где разместились и несколько гуманитарных институтов, было воздвигнуто у стен Андреевского монастыря, в котором сейчас находится Научно-исследовательский институт Госкомстандарта. В связи с воссозданием Российской академии наук справедливо было бы передать Андреевский монастырь ученым России и Русской православной церкви. Потому что всегда духовное наследие России осваивалось учеными-гуманитариями в сотрудничестве с богословами и религиозными деятелями, о чем, в частности, свидетельствует и история Андреевского монастыря. Ведь известные русские ученые, например, В. О. Ключевский, работали как в Московском университете, так и в Московской духовной академии. Много лет назад, когда начиналось сооружение нового здания Академии наук, вопрос о включении Андреевского монастыря в академический комплекс не возник. Теперь же Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексей II вместе с руководством Академии наук обратились к Президенту Российской Федерации с просьбой о передаче Андреевского монастыря в их совместное ведение.

Если здравый смысл, наконец, восторжествует, и найдется место для ведомственного института вне стен святой обители, являвшейся некогда важным очагом русской духовной культуры, то в освободившихся помещениях монастыря можно будет разместить некоторые гуманитарные институты, объединенную гуманитарную библиотеку. Здесь можно было бы открыть мемориальный центр Российской академии наук, организовать

гуманитарно-богословский комплекс, который стал бы местом активных контактов с зарубежными учеными и религиозными деятелями.

Конечно же, православные храмы следует использовать по назначению. На территорию монастыря необходимо перевести размещающуюся в крайней тесноте синодальную библиотеку Московского Патриархата. В расширении ее деятельности заинтересованы все ученые-гуманитарии России. Можно было бы подумать также о создании при ней Центра по сохранению и изучению православной книжности, который объединил бы в одном месте такие московские рукописные собрания, как Синодальное, Чудовское и многие другие. Созданные стараниями именитых и безвестных представителей русского духовенства, они успешно изучались бы как церковными, так и светскими исследователями.

Андреевский монастырь, который, как писал еще сто лет назад простой русский священник, «...выполнил свое предназначение, оправдав надежды своего основателя и всех просвещенных людей того времени», должен снова вернуться в лоно отечественной науки, просвещения и церкви. Не вызывает сомнения, что это будет способствовать духовному возрождению России, повышению международного авторитета Российской государственности и найдет самую широкую поддержку общественности.

«О чем, прозаик, ты хлопчешь?»



Э. Г. Бабаев,
доктор филологических наук

Поэты пушкинской поры не похожи друг на друга. У каждого из них своя судьба, своя поэтика, свой поэтический язык. Они были не похожи и на А. С. Пушкина, несмотря на то, что каждый из них испытал на себе его сильное и плодотворное влияние.

Менее всех других был похож на Пушкина его ближайший сподвижник по «Литературной газете» и «Северным цветам» князь Петр Андреевич Вяземский (1792–1878). Он был старше Пушкина на семь лет и знал его еще лицеистом.

Разница в возрасте, однако, не мешала Вяземскому видеть в Пушкине и последующие годы «смелого вождя» «поэтической дружины». Но это не значит, что Пушкин во всем и всегда был согласен с «поэтами плеяды». Он «беседовал с музами». Для него это было именно «служенье» музам, которое «не терпит суеты».

Что касается Вяземского, то его лирика построена на иных поэтических основах. У него другой словарь, другая интонация. И ему приходилось «беседовать с музами», но как-то второпях, «на перекладных», в дороге.

Если Пушкин был по преимуществу поэт, то Вяземского можно назвать по преимуществу «журналистом». Кажется, что он целый век катил в своей «коляске» через различные «станции», заполняя свою «записную книжку» путевыми очерками, картинками и размышлениями.

Он всегда был готов покинуть «беседку муз» и «кабинет писателя» ради удовольствия видеть «вольный свет»:

Чернильница, бумага, перья –
Всё это смотрит ремеслом;
Сидишь за письменным столом
Живым подобьем подмастерья
За цеховым его станком.
Я не терплю ни в чем обузы.
И многие мои стихи –
Как быть? – дорожные грехи
Праздношатающейся музы.

В стихах Вяземского есть какая-то особенная замашка, какая-то нарочитая небрежность и оригинальность. Рядом с пушкинской лирикой она поражала воображение читателя даже своим несовершенством, чувствовалась какая-то тайна и новизна.

«Вольности» Вяземского часто казались странными Пушкину. Он слышал в его стихах диссонансы и воспринимал это как сознательное или бессознательное нарушение гармонии. В 1821 году Пушкин прочитал только что напечатанное в «Сыне отечества» послание Вяземского к Жуковскому, где его внимание остановили строки:

Хочу ль сказать, к кому был Феб из русских ласков, —
Державин рвется в стих, а втащится Херасков.

Рифма сама по себе была замечательно хороша: *ласков* и *Херасков*. Но двукратные (как, впрочем, и все стихотворение в целом) представлялось Пушкину прозаичным по своему «звуку». Звук в поэтике Пушкина — великое дело.

Между тем, Вяземский, вдаваясь в «разговорную интонацию», как бы упрощал представление о музыкальном, гармоническом значении стиха. В своем кишиневском дневнике Пушкин отметил появление «антипоэтических» начал в стихах Вяземского:

«Читал сегодня, — пишет Пушкин, — послание князя Вяземского к Жуковскому. Смелость, сила, ум и резкость; но что за звуки! *Кому был Феб из русских ласков*. Неожиданная рифма *Херасков* не примиряет меня с такой какофонией» (Пушкин А. С. Полн. собр. соч.: В 6 т. М., 1936. Т. V. С. 486).

Но Вяземский не соглашался с Пушкиным. И со своей стороны доказывал, что «если есть... поэзия звуков и красок, то может быть и поэзия мысли» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1974. Т. 1. С. 123). К тому же Вяземский, в отличие от Пушкина, не слишком и заботился о «благозвучии». «Воля Пушкина, — пишет далее Вяземский, — за благозвучность стихов своих не стою, но и ныне не слышу *какофонии* в упомянутых стихах» (Там же).

То, что Пушкин называл «какофонией», было ранними опытами освоения разговорной речи современной поэзией, формой вторжения прозы в стихи. И Пушкину случалось обмолвиться «невольным прозаизмом», но в таких случаях он считал своим долгом извиниться перед «благосклонным читателем», как это было в стихотворении «Осень»:

Я снова жизни полн — таков мой организм
(Извольте мне простить ненужный прозаизм).

Но оговорки такого рода, сами по себе прелестные и необходимые, даже в поэзии Пушкина, со временем становились «старомодными». Вяземский по отношению к Пушкину иногда занимал позицию настоящего «модерниста». Он не считал нужным извиняться за свои «прозаизмы», а они

преследовали его, цеплялись чуть ли не за каждую рифму. «Несется легкая коляска. И с ней легко несется ум...». «Почтовые пегасы» везут Вяземского по кособогам «воздушной степи»:

То на почлеге размышленья
С собой рассчитываюсь я:
В расходной книжке бытия
Я убыль с прибылью сличаю.
Итог со страхом поверяю
И контролирую себя.

Эти строки из стихотворения «Коляска» (1826) не только по своему смыслу, но и по своей лексике (*расходная книжка, убыль и прибыль, контролирую себя*) были смелым проявлением нового лиризма. Ничего подобного не было и не могло быть ни у Пушкина, ни у Дельвига, ни у Баратынского. Они были «жителями Парнаса» и «язык богов» был их родным языком. А Вяземскому всегда хотелось

Свернуть из баснословной дали
На почву прозы и земли!

Ради исполнения поэтической цели он готов был признать «несовершенство» своего стиха:

Язык мой не всегда бывает непорочным,
Вкус верным, чистым слог, а выраженья точным <...>

Он не только не избегал «прозанзмов», но как будто расчищал для них место.

Пушкину нравились стихотворные афоризмы Вяземского, в них чувствовалась столь характерные для него «смелость, сила, ум и резкость». Он охотно «приискивал» среди избранных строк Вяземского эпиграфы для своих сочинений. Так, Вяземский мог гордиться тем, что и «Евгений Онегин» украшен строкой из его элегии «Первый снег»: «И жить торопится и чувствовать спешит!...»

Афоризмы Вяземского являли собой образец лаконичности. Но в своих стихах он часто бывал многословным, даже утомительным, но сам этого не замечал. Больше того, увлеченный собственным красноречием, Вяземский вдавался в «игру ума», вызывая недоумение и досаду Пушкина, который полагал, что настоящая поэзия ближе к «безмолвной мудрости», чем к «многословной элоквенции».

В стихотворении Вяземского «К мнимой счастливце» содержалась примечательная строфа:

Есть, к счастью, выдержка в долине зол и плача,
Но в свет заброшенный небесный сей залог
Не положительный известных благ итог.
Не алгеброй ума решенная задача.

Именно это стихотворение вызвало известное замечание Пушкина в его письме к Вяземскому: «Твои стихи... слишком умны. А поэзия, просто господи, должна быть глуповата» (Переписка А. С. Пушкина. М., 1982. Т. 1. С. 243). Вяземский, со своей стороны, готов был признать правоту Пушкина: «В стихах моих, — говорил он, — я нередко умствую и умничаю» (А. С. Пушкин в воспоминаниях современников. С. 123). Но он не хотел «исправлять» ни своего стиля, ни образа поэтического мышления. Пушкин был тысячу раз прав, говоря о том, что поэзия не должна быть «слишком умна», иначе она превратится, чего доброго, в прозу. «Но прав и я», утверждал Вяземский, который чувствовал, что здесь речь идет не только о его стихах, но о чем-то большем.

Вяземский полагал, что, сближаясь с прозой, стихи все-таки останутся стихами, а поэзия от этого многое выиграет. Тут был залог какой-то новизны, неизвестной еще никому. «О чем, прозаик, ты хлопчешь?» — с недоумением спрашивал Пушкин в эниграмме «Прозаик и поэт». Вяземский не сразу понял, что именно его Пушкин называл «прозаиком» среди поэтов.

Но осуждение Пушкиным его поэтических опытов нисколько не смущало Вяземского. Он считал, что «эпиграммы — не доказательства» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. М., 1984. С. 62). Перед ним был огромный мир явлений, которому не было ни имени, ни места в поэзии. Читая олимпийцев, можно было подумать, что на земле растут одни только «лавры и кипарисы». А береза, например, между ними даже не упоминалась.

Средь избранных деревьев — береза
Не поэтически глядит;
Но в ней — душе родная проза
Живым наречьем говорит, —

замечает по этому поводу Вяземский в стихотворении под незатейливым названием «Береза».

В своих критических статьях Вяземский говорил о «газетной поэзии» и доказывал, что такое новое направление вовсе не является «антипоэтическим». «И почему поэту не быть наравне с оратором стражем народных выгод и блага общественного?» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 57).

После Пушкина проникновение прозы в поэзию усилилось. Это была одна из закономерностей развития поэтической речи 30–40-х годов. Белинский в свое время был поражен «небрежностью и прозаичностью» звучания самых сокровенных произведений лирики Лермонтова, таких, например, как «Завещание»: «Наедине с тобою, брат, хотелось мне побыть...» (Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. М., 1954. Т. IV. С. 533).

Лермонтов по-своему понял и оценил «хлопоты» Вяземского. Он знал, что такое «простая» исповедальная речь. Владел он и современным светским разговорным языком. Очень характерен в этом отношении программный «разговор» в стихотворении «Журналист, читатель и писатель»:

И я скажу – пужна отвага,
Чтобы открыть... хоть ваш журнал
(Он мне уж руки обломал):
Во-первых, серая бумага,
Опа, быть может, и чиста,
Да как-то страшно без перчаток...
Читаешь – сотни опечаток!

Эпиграмматическая фраза о «перчатках» («Да как-то страшно без перчаток...») представляет собой цитату из «Письма» Вяземского к А. И. Готовцевой, как это отмечено Э. Г. Герштейн в ее книге «Судьба Лермонтова» (М., 1986. С. 115). Но Лермонтов придал русской стихотворной речи дотоле неслыханную еще поэтическую гармонию, которая была недоступна Вяземскому. Поэтому и отношение Вяземского к Лермонтову оказалось сложным. Ему не хватало в Лермонтове «невозмутимой ясности». Но он знал ему цену и отмечал его близость к Пушкину «в высоком художественном чувстве» (Вяземский П. А. Эстетика и литературная критика. С. 314).

На перепутье между Пушкинным и Лермонтовым, как некий вожатый, Вяземский на свой страх и риск искал дорогу в будущее русской поэтической речи. Можно сказать, что он, сам того не сознавая, хлопотал о Лермонтове. Поэтому и все его удачные и неудачные опыты в жанрах современной лирики были его косвенным или прямым ответом на пушкинский вопрос: «О чем, прозаик, ты хлопочешь?»

«Каждый должен делать свое дело и играть свое лицо, – говорил Вяземский. – Когда я в цвету, тогда и моя весна» (Там же. С. 377). П. А. Вяземский был современником двух великих поэтов. И сумел сохранить «чувство собственного пути» – верный признак настоящего таланта и призывания.



*«Стройные слов сочетания
в ясном сплетутся значенье...»*

Заметки о лирике А. К. Толстого

П. А. Гапоненко,
кандидат филологических наук

Казалось бы, сегодня нет необходимости защищать от нападков критики поэзию А. К. Толстого (1817–1875). А между тем было время, когда А. А. Фет не признавал у Толстого поэтического дара, говорил о «прямолинейности» его стихов, об отсутствии в них «безумства и чепухи» — качества, без которых, по мнению Фета, не существует подлинной поэзии. И. М. Соколов, автор монографического исследования «Иллюзии поэтического творчества. Эпос и лирика графа А. К. Толстого» (1890) считал, что перед нами не поэт-лирик, не писатель-психолог, а художник чисто внешних форм и красок. Произведения Толстого представлялись ему лишь «иллюзией поэтического творчества».

Случались и не такие резкие суждения критиков, в том числе и современных. Признавая талант Толстого, они упрекали поэта в неловких, с их точки зрения, оборотах речи, прозаизмах, в подчеркнуто сниженной лексике, в «плохих» рифмах. Но при этом забывалось, что отмеченные ими «погрешности» были скорее не недостатками, а приметами таланта с «лицом и общими выраженьем». Напомним, что Толстой сознательно, как это сле-

дует из его письма к Б. М. Маркевичу, ввел «плохие» рифмы в те стихотворения, где считал себя «вправе быть небрежным» (Толстой А. К. Собр. соч.: В 4 т. М., 1964. Т. 4. С. 385).

В свое время такой квалифицированный читатель и критик, как Н. Н. Страхов, заметил по поводу стихотворения «По гребле неровной и грязкой...»: «Стих так прост, что едва подымается над прозою; между тем поэтическое впечатление совершенно полно» (Отечественные записки. 1867. № 6. С. 131). Это наблюдение вполне можно отнести ко многим лирическим произведениям Толстого.

Обратимся к известному стихотворению «Средь шумного бала, случай но...», а конкретнее – к его строке *Люблю я, усталый, прилечь*, вызывающей не только интерес, но и подчас несправедливые, на наш взгляд, нарекания. Да, слово *прилечь*, быть может, действительно несколько «заземляет» лирическую песню, от начала до конца выдержанную в духе пушкинской интерпретации возвышенной любви. Не случайно это стихотворение в читательской среде нередко приписывается Пушкину. Однако трудно, почти невозможно представить слово *прилечь* в пушкинском поэтическом тексте – скажем, в стихотворении «Я помню чудное мгновенье...». Но это, право же, не свидетельствует о «просчете» Толстого, скорее здесь мы имеем дело с некоторой поэтической вольностью, а не с отсутствием художественного вкуса. Простое, «непоэтическое» слово в окружении традиционных, общепринятых эпитетов и образов как нельзя лучше передает душевное состояние героя (и автора), бесконечно уставшего от светской – шире: житейской – суетности.

Исключительной речевой выразительности достигает Толстой в стихотворении «С тех пор как я один, с тех пор как ты далёко...» В нем лирический герой как бы устанавливает незримую духовную связь с любимой: он «видит» ее *тихий кроткий лик*, он исполнен *мучительного счастья*, он «чует» в *тревожном полусне* ее *любящий взор*. Он, наконец, обращается к ней с вопросами. Все стихотворение заключено в три простые грамматические единицы – предложения (соответственно трем его строфам), образующие развернутый период.

Стихотворение «С тех пор как я один, с тех пор как ты далёко...» соткано из слов «избранных» (Пушкин): *око души, явственной, духовная, лик, взор*. Но сквозь эти речевые формулы пробиваются чисто толстовские интонации – простые, искренние, задушевные, поддерживаемые доверительным, интимным синтаксисом:

Мы думою, скажи, проникнуты ль одной?
И видится ль тебе туманный образ брата,
С улыбкой грустною склонивший над тобой?

Никто до Толстого не писал о разлуке так, как сказано об этом в стихотворении «На нивы желтые нисходит тишина...»:

На нивы желтые нисходит тишина;
В остывшем воздухе от меркнущих селений,

Дрожа, несется злов. Душа моя полна
Разлукою с тобой и горьких сожалений.

И каждый мой упрек я вспоминаю вновь,
И каждое твержу приветливое слово,
Что мог бы я сказать тебе, моя любовь,
Но что внутри себя я схоронил сурово!

Традиционно-элегическая тема раскрывается здесь в форме конкретного личного переживания, в его реальном психологическом движении. И хотя прием переключения внимания с природы на человека в этом стихотворении не нов (им часто пользуются, к примеру, Тютчев и Майков), он, однако, выявляет своеобразие лирико-философских раздумий Толстого. Индивидуальность переживания у него не связана с особым напряжением «озарением» мысли, а образная система далека от тютчевской драматической метафоричности. Толстому, кроме того, присуща интимность интонации, которой недостает Майкову.

Поэт искал новые, сильные и гибкие художественные средства, которые позволили бы ему адекватно выразить сложную гамму чувств и переживаний своего лирического героя. При этом он не гнался за внешне эффектными новациями и не страшился ни традиционного словоупотребления, ни даже, как мы видели, особого рода «небрежности». В упоминаемом письме от 8(20) декабря 1871 года к писателю Б. М. Маркевичу, с которым Толстой притязательствовал, читаем: «Некоторые вещи должны быть чеканными, иные же имеют право или даже не должны быть чеканными, иначе они покажутся холодными». Вот так: определенно и точно.

В стихотворении «О, если б ты могла, хоть на единый миг...» поэт, обращаясь к романсно-мелодической интонации в духе Жуковского, прибегает, казалось бы, к устойчивой образности: *печаль, невзгоды, грусть, счастливейшие годы*. Но в стилистике Толстого-лирика (стихотворение имеет явно выраженный биографический характер и обращено к Софье Андреевне Миллер) привычная лексика обретает свежие черты. Поэт возвращает отвлеченным формулам элегической печали живую конкретность, а удачно найденный образ *засветится слеза* изнутри освещает всю лирическую пьесу, сообщая ей новые смысловые и экспрессивные оттенки. И самые привычные слова уже звучат поэтически неожиданно. Создается характерная для интимно-психологической лирики Толстого атмосфера одухотворенности.

Есть в этом замечательном стихотворении еще два «вечных» образа, заслуживающих пристального внимания — *пролётная гроза* и *тень от облаков, бегущая по нивам*. Притягательные и удивительно точные в своей конкретности и неповторимости, они как завершающий аккорд венчают собой этот лирический монолог.

При всей высокой простоте стихотворение «Смеркалось, жаркий день бледнел неуловимо...» держится еще на классических образах: *над озером туман, вечерний тихий час, очи грустные, крохотный образ твой*. Его поэтический строй основан на мелодических романсных повторах, на романти-

чески окрашенной лексике. Но поэт и здесь преодолевает традицию. Как бы оживляя (почти незаметно) семантические связи стиха, он извлекает из слов — путем их особого подбора и сочетания друг с другом — тонкие дифференцирующие оттенки. Во второй строфе заслуживают внимания два образа, вносящие дополнительные краски к психологическому портрету героини и вступающие между собой в нелогические отношения: *улыбка и очи грустные*. Они вызывают особого рода «эстетическую реакцию», создают глубокий подтекст всего произведения. Читаем:

Смеркалось, жаркий день бледнел неуволимо,
Над озером туман тянулся полосой,
И кроткий образ твой, знакомый и любимый,
В вечерний тихий час носился предо мной.

Улыбка та ж была, которую люблю я,
И мягкая коса, как прежде, расплелась,
И очи грустные, по-прежнему тоскуя,
Глядели на меня в вечерний тихий час.

Поэт разнообразит стилистическую окраску своих элегических признаний, расширяет их эмоциональный диапазон. Основной психологический колорит некоторых элегических стихотворений Толстого становится мажорным. Можно говорить о своеобразном жанре торжественной элегии, разрабатываемой им. Характерный пример — стихотворение «В стране лучей, незримой нашим взорам...», элегические интонации которого подчиняются пафосному строю философских размышлений. В нем раскрывается идеальный характер любви поэта, соответствующий его мировоззрению. Собственные личные ощущения он связывает с «любовью» вселенной. О своем влечении в «беспредельное» Толстой, как он сам признается в послании к И. С. Аксакову, не может «поведать» *на ежедневном языке* — для этого нужен особый язык, возвышенный. Символом философской значительности образов Толстого в упомянутом стихотворении служит, в частности, мотив духовного «узнавания» другой, родственной души.

В других случаях (стихотворение «Не ветер, вея с высоты...») этой цели подчинены неожиданные эмоциональные повороты и образы. Вопросительно-восклицательные конструкции, анафорические повторы, специальная лексика, обращения — все это создает необходимую поэту стилистическую тональность. При этом торжественные интонации не разрушают непосредственности звучания, а лишь подчеркивают ее.

Незаурядный художественный вкус проявил Толстой во многих своих стихотворениях и даже в тех из них, в которых он считал себя «вправе быть небрежным». Разумеется, есть у него и «проходные» строчки, и слабые стихи, но не о них речь, а о принципах, которым следовал он в поэтической практике. Вместе с Тютчевым, Фетом, Полонским, Майковым и другими своими современниками Толстой выполнял одну из насущных задач, выдвинутых Некрасовым в статье «Русские второстепенные поэты». — энергично содействовать развитию поэзии.

Используя опыт и достижения предшественников и современников, Толстой сумел в своей лирике остаться вполне самостоятельным. В ней отразились нравственная сила и благородство личности поэта, его, по выражению И. С. Тургенева, «гуманная натура». Это обусловило важнейшие положительные качества его поэзии — жизнерадостность, ясность, чистоту. Сам поэт был убежден: «В темной души глубине бьет звонкий родник вдохновенья!» (строка из первоначальной редакции стихотворения «Тщета, художник, ты мнишь, что творений своих ты создатель!..», не вошедшая в окончательный текст). Нужно лишь напрячь *душевный слух* и *душевное зренье*, чтобы вызволить стихи из «душевной глубины» — и тогда:

Стройные слов сочетания в ясном сплетутся значенье...

Такие стройные, ясные стихи и рождались под пером А. К. Толстого.

Орел

**«Чужое слово»
в поэзии
Константина Фофанова**



Е. З. Гарланов,
кандидат филологических наук

В русском литературном процессе конца XIX века, вслед за вершинными достижениями так называемого «чистого искусства» и гражданской лирики некрасовской школы, набирало силу ощущение завершенности поэтической эпохи, истощенности поэтических средств, даже «вырождения рифмы» (Андреевский С. А. Литературные очерки. СПб., 1902. С. 428). Утрата цельности мирозерпания, которая во многом объяснялась кризисом высоких демократических идеалов, порождала в умах читателей и критики этого времени своеобразную ностальгию по свежести и первоизданности стилизованных средств классического романтизма. Совершенно особую роль в художественной практике конца века начал играть принцип стилизации, намеренно осознававшийся литераторами как способ эстетизировать уже достаточно далекое, гармоничное и невозвратимое прошлое, связанное, в частности, с поэзией А. Шенье, Байрона, раннего Пушкина и поэтов пушкинской поры.

Одним из оригинальных воплощений этого принципа являлась в поэзии конца XIX века стилистическая категория так называемого «чужого слова» (по концепции М. М. Бахтина) в «диалогических контекстах», основанных на творческом восприятии чужого высказывания. Особенно показательна в этом отношении стилизация под романтическую поэтику 1820–1830-х годов в творчестве К. М. Фофанова (1862–1911) — даровитого и популярного лирика. Современники воспринимали его едва ли не как «последнего потомка Аполлона по прямой линии» (Андреевский С. А. Указ. соч. С. 446), причем почти десятилетний период русской поэзии (1887–1895) был обозначен читающей публикой как «фофановский».

Первым опытом Фофанова в использовании стилистической категории «чужого слова» было стихотворение «Тени А. С. Пушкина» из его дебютного сборника 1887 года. В нем прослеживается интересное наложение двух форм авторского сознания (двух речемыслительных планов) – собственно-авторского и его лирического героя Пушкина как поэта идеального. Приведем хотя бы основную часть этого произведения:

Не помню я, когда твой дух
Ко мне вошел стопой неслышной,
Когда впервые стих твой пышный
Благословил мой детский слух.
То было ль рапнею весною,
Когда живей тревожат сны
И ночи белые полны
Обворожительною мглою;
Когда я бледный у окна
Сидел в молчании глубоком
И созерцал прилежным оком,
Как в небе теплилась луна;
Иль в час утра, когда как розы
На небе рдели облака
И пробужденные березы,
Стряхнув росы целебной слезы,
Внимали вздохам ветерка?
Иль в час, когда, гудя метелью,
В окно стучалась зима,
И над моею колыбелью
В снах колдовала полутьма?
Во сне ли было то свиданье,
Иль на яву, при свете дня, –
Как тайна смерти от сознания
Тот час утерян для меня –
И нет о нем воспоминанья...
Но только помню, что с тобой
Меня знакомил кто-то чудный
Какой-то гений неземной,
Какой-то демон безрассудный.

Перед нами своеобразный «диалогический контекст». Бахтин, впервые обративший внимание на существование в литературе таких контекстов, принципиально отличающихся от монологических, в основу их классификации положил отношение к чужому высказыванию (Бахтин М. М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1979. С. 231). Как разновидность однонаправленного «двуголосого» слова Бахтин выделяет стилизацию, при которой «авторское слово обрабатывается так, чтоб ощущалась его характерность или типичность для определенного лица, для определенного социального положения, для определенной художественной манеры» (Там же. С. 217).

По всей видимости, в авторский замысел фофановского стихотворения входило сделать художественную манеру Пушкина одновременно и предметом, и способом изображения. Отсюда тончайшие и едва уловимые в словесной ткани «Теней» переходы от стилизации (полифонии однонаправ-

ленных голосов) к подражанию (то есть слиянию этих голосов) и вновь к стилизации.

Близость поэтического словаря Фофанова и Пушкина и усложняла (применительно к стилизации), и облегчала эту задачу, в высшей степени заманчивую для автора с его священным трепетом перед авторитетом старшего собрата. Лирический принцип неопределенности, усугубленный идейно-эстетическим замыслом стихотворения, здесь доведен до апогея. Эта авторская установка подчеркнута и заглавием — «Тени А. С. Пушкина». Произведение начинается как монологический контекст — авторским обращением к «родной тени» с признанием особого духовного сходства. Лирическое «двуголосие», может быть, не совсем удачно вводится строкой из небезызвестного стихотворения (романса) А. К. Толстого «То было раннею весной...», что, впрочем, вполне объяснимо предельным сближением поэтических позиций Пушкина и А. К. Толстого в глазах Фофанова и большинства его современников. Авторская установка на пушкинский стиль и пушкинское слово более всего проявляется в основной поэтической интонации (композиционная вопросная форма стихотворения А. С. Пушкина «Цветок засохший, безуханный...») и в отборе лирических образов белой петербургской ночи, утренней зари и зимней непогоды с ее характерным пушкинским «стуком» в окно. Благодаря этому в художественном мире фофановского стихотворения, выражаясь поэтическим языком, ощущается легкое дыхание пушкинской музыки. Перед нами как бы авторская заявка на единство художественного времени и художественного пространства двух лирических миров. Конец диалогического контекста (см. четыре последних стиха) отмечен ясным «двуголосым» звучанием слов *гений* в пушкинском значении *добрый дух вдохновения, дух творчества* и *демон* в пушкинском значении *злой дух творчества*.

Финал стихотворения возвращает к монологическому контексту и вместе с тем развивает и обобщает авторскую мысль о поэтических истоках и идеалах творческого сознания.

В последующих стихотворениях ностальгия Фофанова по цельному мироощущению порождает «ретростилистику» романтизма 20–30-х годов. Например, в основе стихотворения Фофанова «Я родом финн — и гордая свобода...» лежит написанный традиционными красками эффектный пейзаж, как будто взятый из «Финляндии» Е. А. Баратынского (1820) или из «Карелии» Ф. Н. Глинки (1830). Все приметы родины в изображении Фофанова: *сумрачный гранит, назмуренная лазурь, хохот въюг, безумно музыкальный, сосны узорчатая тень* — это глубинные истоки его «изнемогающей души», мятущейся, «как водопад полуночного края, как финских вод стесненная волна» (Фофанов К. Стихотворения. СПб., 1889. С. 165). Хотя в обрисовке лирического героя и символических истоков его натуры угадываются определенные литературные источники, Фофанов явно не ставил своей художественной задачей создание поэтического многоголосия. Перед нами лишь неосознанное подражание. Вот и в стихотворении «Мир поэта» лирический герой Фофанова как бы задрапирован в демонический

плащ «романтического» покроя: как и его предшественники, он фатально противопоставлен обыденному миру, он «как царь, как гордый царь в изгнании томится мощною душой» (Там же. С. 171).

Апофеозом романтического героя 20–30-х годов – демонической личности, живущей сильными страстями и способной как к добру, так и ко злу, – стало стихотворение «Памяти Байрона», представляющее собой намеренную стилизацию. Размашистыми и точными мазками Фофанов создает художественно законченный психологический портрет Байрона, осознанный через его лирического героя:

Роптал в нем демон, плакал бог!
Он сам себя понять не мог
И – жертва слабая страстей –
Он проклинал за страсть людей.
И, сам безумство, сам порок,
В других простить он их не мог!

В фофановской интерпретации «мятущегося» образа Байрона с ее мелодраматической экспрессивностью и напряженной патетикой легко угадывается хорошо знакомый «мрачный и величественный», «статичный и обобщенный, как бы вневременной портрет героя» Байрона, с его гордой улыбкой, печальной и презрительной, и особо выразительным, «сверкающим взглядом» (Жирмунский В. М. Байрон и Пушкин. Л., 1978. С. 125–127). Взгляд лирического героя, который в качестве выразительного симптома душевных переживаний так много значил в романтической поэтике Байрона, у Фофанова не просто получает психологическое истолкование, но становится эмоциональным ключом и кульминационным фокусом лирического живописания:

Гордися, мир! Он – лучший грех
Из всех грехов твоих! Из всех
Твоих мятущихся сынов
Во мглу задумчивых веков
Он горделивей и смелей
Глядит из вечности своей!

«Окаменевшие» байроновские эпитеты *мрачный* (gloomy), *суровый* (stern), *гордый*, *надменный* (proud, haughtily, high), *задумчивый* (pensive) и т. п., в которых позднейшие исследователи усматривали эмоциональные лейтмотивы его лирики (Жирмунский В. М. Указ. соч. С. 138), Фофанов вплетает в словесную ткань своего стихотворения как наиболее существенные черты воссоздаваемого стиля. (Ср. фофановские выражения: *гневный взор*, *гордый ум*, *мрачные годы*, *угрюм*, *властителин* и *горд*, *езде он был самим собой*, *ревнивый*, *гневный иль больной* и др.) В диалогическом контексте Фофанова «прямое, непосредственно направленное на свой предмет слово» Байрона служит новой цели, поскольку его полифоническое звучание входило в творческий замысел поэта. Сохранение дистанции двух художественных манер (а именно это, как показал М. М. Бахтин, и отличает стилизацию от подражания) создает у читателя ощущение чужого вос-

производимого стиля. Заметим, что в стихотворении «Памяти Байрона», как, впрочем, и во многих других, написанных в ключе литературного отклика, явственно сказалась широкая начитанность и тонкая интуиция Фофанова, представление об уровне поэтической и общей культуры которого, созданное современной ему критикой, было несправедливо заниженным и чрезмерно упрощенным.

Категория «чужого слова» по-своему отражена и в других произведениях Фофанова («А. А. Фету», «Памяти А. Шенье», «Дума в Царском Селе», «Поэзия — бог»). Особенно показательно развитие этой стилистической категории и авторская трансформация стиля «романтического ретро» в его поздней, написанной реалистическими красками поэме «Поэзия — бог» (1910), посвященной памяти друга — поэта А. С. Случковского. Известные слова В. А. Жуковского «Поэзия есть бог в святых мечтах земли» (поэма «Камозис») рефреном проходят через весь лирический контекст, вводя голос противоположной направленности. Фофановское слово здесь становится полифоническим, так как одновременно звучат голоса цитируемого идеального поэта, лирического героя поэмы и иронически остранившегося автора.

Обваженная правда нищенского существования, тщетно заглушаемая вином, и едкая горечь от ощущения растоптанного достоинства Поэта-человека с бесконечно высоким духовным потенциалом — создают в поэме вполне реалистический и законченный образ современного мечтателя, для которого нет Бога выше Поэзии. Выросшая на почве романтической проны, авторская стилистическая манера здесь усиливает не только живость и конкретность характера, но и трагедию своего героя в современном «мире скорби и стыда». К этому остается лишь добавить: поэма во многом содержала автобиографические черты.

Петрозаводск

«Дарьялов дрался на дуэли...»

А. А. Илюшин,
доктор филологических наук

Эта короткая, заключенная в кавычки фраза в романе Л. Н. Толстого «Анна Каренина» занимает отдельный абзац. В окружении других, объемных, абзацев он выглядит миниатюрным. Но в нем вместились многое, чего не заметить было бы упущением.

Сразу слышно, что это, словно стихотворная строка, выдержанная в размере четырехстопного ямба с отсутствием метрического ударения в третьей стопе — наиболее распространенная ритмическая фигура в русской поэзии XIX века. На первый взгляд вполне обычная вещь. Отдельная прозаическая фраза часто укладывается в тот или иной стихотворный размер в результате случайного совпадения и может быть записана в виде обособленной строки. Вот взятые почти наугад примеры из той же «Карениной»: «Степан Аркадыч чуть заметно улыбнулся» (шестистопный ямб); «— Очень приятно, — сказал старичок» (четырехстопный дактиль); «Облонский как будто задумался» (трехстопный амфибрахий) и т. п. Не то же ли самое получилось и с Дарьяловым? Едва ли. Здесь, по-видимому, нечто большее, нежели произвольное ритмическое совпадение прозаической фразы со стихом.

Вслушаемся, как роскошно, избыточно аллитерирован этот «стих». Главенствует звонкий взрывной *д*, которым начинаются и вся фраза в целом и все слова, кроме служебного — предлога *на* (на который как раз и приходится пропуск метрического ударения). Этот упор на *д* сопровождается игрой сонорных *р* и *л*, так что фоническая композиция складывается такая: «Д-р-л др-л д-л» — с учетом трех знаменательных слов. Похоже на цитату из какой-нибудь романтической поэмы, сочиненной крупным мастером «золотого века».

К тому же подчеркнуто поэтическим и романтизированным представляется значащее имя, вернее фамилия — Дарьялов. Возникают привычные ассоциации: Кавказ, Казбек, Дарьял, Терек — характерная атрибутика романтизма, о которой помнит Толстой. Помним и мы, что его повесть «Кавказский пленник» одноименна пушкинской и лермонтовской поэмам. Что же касается Дарьялова, то уместно уточнить: это как бы лермонтовский персонаж и никак не пушкинский. У Пушкина не Дарьял, а Дариал или Дариял («Путешествие в Арзрум», «Тазит»). У Лермонтова уже Дарьял, причем выразительно аллитерированный в стихе (*Разорил родной Дарьял — «Дары Терек»*).

Кавказ — это буйная воинственность, Лермонтов с Печориным и черкесами, дуэли и схватки, кровная месть, неизбежное «заряжу!». Человеку

с фамилией Дарьялов как нельзя более приличествует драться на дуэли, что он и сделал. Этим полностью оправдан семантический ореол, которым, как представляется, окружен данный антропоним.

Если рассмотреть толстовскую фразу в ближайшем контексте, то наметенные соображения могут стать более развернутыми. В кавычках она, конечно, не потому, что «прикидывается» стихотворной цитатой, а потому, что является прямой речью как маленький отрывок из большого внутреннего монолога-размышления, формирующегося в уме Алексея Александровича Каренина. При этом фигуры прямой речи героя перемежаются авторскими пассажами, то есть авторскими описаниями мыслей героя. Каренин припоминает, как вели себя обманутые мужья, его знакомые:

«И он стал перебирать подробности образа действий людей, находившихся в таком же, как и он, положении.

«Дарьялов дрался на дуэли...»

Дуэль в юности особенно привлекала мысли Алексея Александровича именно потому, что он был физически робкий человек и хорошо знал это»

Фамилия Дарьялов впервые названа несколько выше и в ряду других:

«Дарьялов, Полтавский, князь Карибанов, граф Паскудин, Драм... Да, и Драм... такой честный, дельный человек... Семенов, Чагин, Сигонин, вспоминал Алексей Александрович (...)»

В дальнейшем так и не сообщается, как поступили Полтавский, Семенов, Чагин, Сигонин. Впрочем, о поступке Полтавского мы и сами можем догадаться, согласно логике говорящих имен. Он не зря поставлен рядом с Дарьяловым. Наверное, оба дрались на дуэли. Фамилия Полтавский не менее воинственна, чем Дарьялов: «И грянул бой. Полтавский бой!» (Пушкин. «Полтава»).

Кто-то из обманутых мужей официально развелся с женой, а некоторые просто расстались с изменницами, не оформляя развода:

«Кроме формального развода, можно было еще поступить, как Карибанов, Паскудин и этот добрый Драм, то есть разъехаться с женой», — промолвил он, думая, успокоившись (...)»

Согласно той же логике говорящих имен, естественно предположить, что Паскудин при этом вел себя «паскудно», а Драм пережил глубокую душевную драму. Слишком уж красноречивы эти фамилии (как это нередко бывает в произведениях Толстого). Бедному Драму среди прочих уделено особое внимание, и звукопись здесь так же щедра, как и в случае с Дарьяловым, и весьма схожа с «дарьяловской»:

...Драм... Да, и Драм...

...дельный...

...этот добрый Драм...

Тоже упор на *д*, причем этот звук местами не просто взрывной, а обостренно взрывной-надрывный: «этот-добрый Драм» (конечный *т* в слове *этот* отчасти озвончается перед звонким *д* следующего слова). И тоже своего рода игра сонорных. Безусловно, Дарьялов и Драм становятся главными

фигурами в грустном перечне роконосцев. Они одновременно и противоположны друг другу (мужество и жертвенность) и созвучны, фонически соотносены.

Завидующий Дарьялову Каренин, в уме которого проносятся все эти *р, д, а*, вообще как бы мучительно заиклен на этих звуках, нервно им предан, равно как своей дурной привычке трещать, волнуясь, суставами пальцев. Замечательным образцом психологического мастерства Толстого традиционно считается сцена объяснения мужа с женой, когда Каренин заикнулся на слове *перестрадал*:

«Да, вы только себя помните, но страдания человека, который был таким мужем, вам не интересны. Вам все равно, что вся жизнь его рушится, что он пеле... пеле... пелестрадал».

Алексей Александрович говорил так скоро, что он запутался и никак не мог выговорить этого слова».

Здесь в требуемой приставке *пере-* вместо *р* звучит то *д*, то *о* (*пеРе-пеДе-пеДе*). Опять те же звуки, которые сидят также и в постприставочной части слова — (...) *сРаДаЛ*. Слишком их много, и они начинают цутаться, теснить и вытеснять друг друга. Странной приверженностью Каренина к этим звукам подспудно мотивируется его неравнодушие к Дарьялову и Дrame. Семенов, Чагин, Сигонин остаются неясными и безликими — и поделом: в их пустых фамилиях нет ни *д*, ни *р*, ни *а*. Зато Дарьялов...

«Дарьялов дрался на дуэли...»

Толстой-стилист часто кажется небрежным и размашистым, человеком косноязычным. Такова его нарочитая установка. Он полон подлинной жизни, а подлинная жизнь неправильна, неупорядоченна, и нечего ее прихорашивать, выправлять и логизировать. Неуправляемая стихия. И вдруг — обнаруживаешь, как подчас тонко, тщательно сводя концы с концами, владелирно шлифуя язык, с вниманием к отдельному слову и к отдельной букве он ведет тему, соразмеряет ее компоненты. Кажущаяся гигантомания оборачивается тонким мастерством умельца, способного подковать блоху, неуклюжий великан становится виртуозом-фокусником и миниатюристом. Дарьялова не назовешь ни второстепенным, ни третьестепенным героем романа — он вроде бы вообще не персонаж, а нечто мимолетно промелькнувшее в памяти настоящего персонажа. Однако это призрачное нечто великолепно воплотилось и состоялось

Из наблюдений текстолога

Необычайные приключения поэмы Маяковского

Н. И. Харджиев

«Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Владимировичем на даче...» (1920) – одно из самых известных произведений великого поэта. Оно вошло в эстрадный репертуар, его читали В. Качалов и В. Яхонтов. Неслучайно Маяковский включил «Необычайное приключение...» в небольшую книгу избранных стихов «Для голоса».

К сожалению, в комментариях к «Необычайному приключению...» в третьем посмертном Собрании сочинений поэта даны весьма неточные библиографические сведения. На таком же уровне – текстологический комментарий, не дающий правильного представления ни о последовательности этапов работы над этой вещью, ни о текстуальных изменениях. Не отмечено, например, что из сборника «Для голоса» Маяковский изъясил строки 80–100, а из отдельного издания – строки 65–70. Не указано также, что подзаголовок из «Лирия» не соответствует напечатанному в журнале «Красная нива». По-видимому, редактор последнего издания, базируясь на тексте прижизненного десяти томника, весьма поспешно подготовленного к печати О. Бриком, текстологическим анализом стихотворения не занимался.

Летом 1920 года «Необычайное приключение...» было предоставлено автором поэту Г. Петникову для сборника «Лирень», изданного через год. Первопечатный текст О. Брик включил в первый том сборника «13 лет работы» (1922), а затем в качестве окончательной редакции – во второй том прижизненного десяти томника, положенного в основу всех трех посмертных собраний сочинений.

Несмотря на то, что О. Брик включил в «13 лет работы» первопечатный текст, через четыре года в сборнике «Избранное из избранного» (1926) была помещена другая редакция стихотворения, опубликованная в 1923 году в журнале «Красная нива». Этот журнальный вариант О. Брик включил и в подготовленный им к печати сборник «Школьный Маяковский» (1929), изданный после выхода второго тома прижизненного Собрания сочинений.

Качество редакторской работы О. Брика характеризуют два текстуальных искажения (в сборнике «Школьный Маяковский»).

Строки 53–57:

В окошки,
в двери,
в щель войдя,

ввалилось солнца масса.
Ввалилась.

В предпоследней строке искажена глагольная форма, утратившая оттенок длительности: «ввалилась солнца масса». Действие завершается в следующей строке: «Ввалилось».

Еще более грубое искажение — в строках 107–110:

Пойдем, поэт,
взорлим,

вспоем
у мира в сером хламе.

Впервые такое чтение 108 строки дано О. Бриком в прижизненном десятитомнике. А в первопечатном тексте читаем: *взорим* вероятно, от областного «зорить» — сверкать, блеснуть (зарница зорит).

Глагольный неологизм «взорлить» принадлежит Игорю Северянину (в стихотворении «Эпилог» читаем: «Взорлил, гремющий, на престол!»). Таким метафорическим глаголом О. Брик дважды заменил искаженный, по его мнению, текст Маяковского. Вместо Маяковского — Игорь Северянин!..

Маяковский весьма редко вносил поправки в первопечатные тексты. Но, как мне удалось установить, первопечатный текст «Необычайного приключения...», вошедший в прижизненный десятитомник, окончательной редакцией не является. Поэт вносил поправки и до и после выхода сборника «Дирень». Об этом свидетельствует и авторизованный список, и фонографическая запись С. Бернштейна, относящиеся к концу 1920 года, и машинописный текст 1921 года, и ряд печатных: 1) в берлинском сборнике «Для голоса», изданном в самом конце 1922 года, 2) в журнале «Красная нива» (январь 1923 года), куда Маяковский прислал «Необычайное приключение...» до своей поездки в Берлин, и 3) в отдельном издании поэмы, где и дана последняя редакция. Маяковский внес десять поправок, частично повторяющих внесенные ранее строки (16, 26, 35, 47, 52, 93, 102, 104, 106, 117), и отбросил целую строфу (строки 65–70):

Слеза из глаз у самого —
жара с ума сводила,
но я ему —

на самовар:
«Ну что ж,
садись, светило!»

Эта строфа вносила путаницу в развитие сюжета, так как совершенно не соответствовала речевому поведению героя, испуганного внезапным появлением солнца.

Отдельное издание, тщательно подготовленное к печати автором, вышло во второй половине июня 1923 года под заглавием «Солнце» (впервые так озаглавлено в журнале «Красная нива»), с иллюстрациями высоко ценимого Маяковским художника — лучиста Михаила Ларионова, присланного из Парижа.

Новое заглавие «Солнце» перекликается с ранним стихотворением Маяковского «Разговариваю с солнцем у Сухаревой башни» («Из улицы в улицу»). Но Маяковский сохранил и первоначальное заглавие. Оно стало

подзаголовком, дополненным топографической деталью, уточняющей дачный адрес поэта: «Необычайное приключение, бывшее со мной, с Владимиром Маяковским, на даче, станция Пушкино, Акулова гора, дача Румянцева, 27 верст от Москвы, по Ярославской ж. д.».

В отдельном издании «Солнце», многострофное стихотворение балладного строя, названо поэмой.

Как известно, «Солнце» написано классическим размером: каждая строфа комбинирует четырехударный и трехударный ямб, с мужскими рифмами в нечетных и женскими рифмами в четных строках.

В книге В. Тренина «В мастерской стиха Маяковского» (1937) сказано, что эта метрическая схема нарушена в двух местах. Так ли это?

Первый пример: две редакции строк 11–15. Черновая редакция:

А за селом была дыра,
дыра была наверно,
и в эту дырку каждый раз
садились солнце мерно.

Вторая черновая (и окончательная) редакция:

А за деревню —
дыра,
и в ту дыру, наверно,
спускалось солнце каждый раз,
медленно и верно.

Неожиданное отсечение начального неударного слога в последней строке замедляет ее темп, дает ритмическое изображение замедленного движения заходящего солнца. Здесь изменение ритма действительно служит целям смысловой выразительности. Второй же пример нарушения метрической схемы, приводимый В. Трениным, должен быть отвергнут.

В первопечатном тексте, включенном О. Бриком в прижизненный десятитомник, строкам 101–106 дано такое чтение:

И скоро
дружбы не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
Ты да я,
нас, товарищ, двое!

Однако в конце того же 1920 года Маяковский прибавил к последней строке начальный слог — разумеется, не для того, чтобы восстановить метрическую схему:

ведь нас, товарищ, двое.

Считая текст прижизненного десятитомника (в составлении которого автор не участвовал) окончательной редакцией, В. Тренин отнес малозначащую частицу «ведь» к числу применяемых дилетантами для заполнения

ритмических провалов, а отсутствие этой частицы признал активизирующим стихотворную фразу.

Как раз наоборот: включенная в метрический контекст строфы частица «недь» усиливает непринужденность разговорной интонации.

Анализ двух редакций 106 строки, произведенный В. Трениным, основан на случайной ошибке исследователя. Блестящий филолог В. Тренин хорошо знал, что в мастерской стиха Маяковского не могло быть ни одной «дилетантской» строки.

СОЛНЦЕ

Необычайнейшее приключение, бывшее со мной, Владимиром Владимировичем Маяковским, на даче, — станция Пушкино, Акулова гора, дом Румянцевой, 27 верст от Москвы, по Ярославской ж. д.

В 140 солнц закат пылал.
В июль катилось лето.
Была жара.
Жара плыла.
На даче было это.
Пригорок Пушкино горбил
Акуловой горою,
а низ горы —
деревней был,
кривился крыш корою.
А за деревнею —
дыра.
И в ту дыру
наверно
спускалось солнце каждый раз
медленно и верно.
А утром
снова
мир залить
вставало солнце ало.
И день за днем
ужасно злить
меня
вот это
стало.
И так однажды разозлясь,
что в гневе все поблекло, —
в упор я крикнул солнцу:
«Слазь!
Довольно шляться в пекло». —
Я крикнул солнцу:
«Дармоед!
Занежен в облака ты.
А тут —
Не знай
Ни зим,
Ни лет —
Сиди
Рисуи плакаты».

Реву я солнцу:
«Погоди!
Послушай, златолобо,
чем так,
без дела заходить,
ко мне
на чай зашло бы!»
Что я наделал?!
Я погиб!
Ко мне
по доброй воле
само,
расставив луч-шаги,
шагает солнце в поле.
Хочу испуг не показать
и ретируюсь задом.
Уже в саду его глаза.
Уже пролезло садом.
В окошки,
в двери,
в щель войдя,
валилась солнца масса.
Ввалилось.
Дух переведа,
заговорило басом:
«Гонию
обратно
я
огни —
впервые с сотворенья.
Ты звал меня?
Чай гони!
Гони, поэт, варенье!»
Черт дернул
дерзости мои
орать ему.
Сконфужен,
я сел
на уголок скамьи,

боюсь –
не вышло б хуже.
Но странная
из солища
ясь
струилась.
И, степенность
забыв,
сижу, разговарясь
с светилом постепенно.
Про то,
про это говорю,
что-де – заела Роста.
А солнце:
«Ладно,
не горюй.
Смотри на вещи просто.
А мне,
ты думаешь,
светить
легко?
Поди!
Попробуй!
Но все ж идешь.
Взялось идти.
Идешь
и светишь в оба».
Болтали так до темноты.
До бывшей ночи то есть.
Какая тьма уж тут!
На «ты»
мы с ним, совсем освоюсь.

И скоро
дружбу не тая,
бью по плечу его я.
А солнце тоже:
«Ты да я –
ведь нас, товарищ, двое.
Пойдем, поэт,
взорим,
вспоем
у мира в сером хламе.
Я буду солнцем лить свое,
а ты
свое
стихами.
Стена теней,
ночей тюрьма
под солнц двустволкой пала.
Лучей и света кутерьма,
сияй во что попало.
Устанет-то
и хочет ночь
прилечь,
тупая сонница!
Вдруг я
во всю светаю мочь
и снова день трезвится».
Светить всегда,
Светить везде, –
до дней последних донца.
Светить –
и никаких гвоздей!
вот лозунг мой
и солнца.

Писатель и его читатель



Задыхающийся язык

Л. П. Кременцов,
доктор филологических наук.

«Душа обязана трудиться...»

В. А. Заболоцкий

Груд душа.. Что это? В каких килограммах-километрах-киловаттах можно измерить его результаты? Не вольная ли это поэтическая фигура, та коей в реальной жизни собственно ничего и нет?

В последнее время отвечать на подобные вопросы стало немного легче. Забота о духовности ныне провозглашается всеобщим делом. Философские, нравственные, эстетические ценности, хотя и не поддаются по-прежнему измерению с помощью единиц из системы мер и весов, потихоньку отвоевывают, возвращают свое законное место в интересах человека и общества: и по мере того, как труд души будет утверждаться в своих правах, проявится и единица измерения, своеобразный критерий для оценки его результатов.

Этот критерий — слово. Давно уже очевидна связь между уровнем духовного развития — эрудицией человека и его речью. И дело не только в том, сколько слов в лексиконе, но в что это за слова и как ими пользуются.

А язык художественной литературы – тот индикатор, что безошибочно позволяет судить о процессах, идущих в обществе.

Кто не знает людоедку Эллочку из романа И Ильфа и Е. Петрова *Помните, она свободно обходилась тридцатью словами*. Сегодня, правда, бессмертная Эллочка обновила свой репертуар, хотя количество используемых ею слов, по-моему, сократилось. Однако ильфо-петровский персонаж остается лишь объектом беззлобных шуточек, как бы отвергая своей карикатурностью даже намек на какую бы то ни было связь с реальной действительностью. Мы продолжаем недооценивать диалогию сатириков, считая ее этаким юмористически развлекательной книжкой. А ведь вся она разошлась, подобно «Горю от ума», на пословицы и поговорки, не исчезающие и поныне из русской речи, а фигуры ее персонажей давно стали нарицательными. И людоедка Эллочка – не экзотический фрукт, случайно произросший среди обыкновенных. В этом образе отразились процессы, протекавшие в стране на рубеже 20–30-х годов.

Тревога за судьбы гуманизма и культуры руководила еще М. Горьким («Несвоевременные мысли»), И. А. Бунинным («Окаянные дни»), В. Г. Короленко (письма А. В. Луначарскому). Эта тревога объясняет в известной степени возникновение в литературе 20-х годов жанра антиутопии – Е. Замятин, А. Платонов, А. Чаянов – и усиление сатирических тенденций.

В письме к О. М. Фрейденберг при отправке ей романа «Доктор Живаго», действие которого, как известно, завершается в конце двадцатых годов, Б. Л. Пастернак заметил: «Мы все-таки, помимо революции, жили еще во время общего распада основных форм сознания, поколеблены были все полезные навыки и понятия, все виды целесообразного умения» (Новый мир. 1988. № 6. С. 234).

Одной из причин, породивших этот процесс «общего распада», была подмена общечеловеческих ценностей классовыми и, как следствие, кровавое насилие, красный террор, которые не только усмиряли несогласных, но и разлагали победителей. Человеческая личность, хотя и вооруженная идеей пролетарской справедливости, не выдерживала и не могла выдержать испытания жестокостью: она просто переставала быть таковой. Урок, полученный Родионом Раскольниковым: «Разве я старушонку убил? Я себя убил, а не старушонку», – был забыт. Об этом рассказал В. Зазаубрин в «Щепке», написанной в начале двадцатых и опубликованной в 1989 году.

В воздухе того времени было растворено ощущение:

Но забыли мы, что осиянно
Только слово среди земных тревог,
И в Евангелии от Иоанна
Сказано, что слово это – Бог.

Мы ему поставили пределом
Скудные пределы естества,
И, как пчелы в улье опустелом,
Дурно пахнут мертвые слова.

(Гумилев Н. Стихотворения и поэмы. М., 1989. С. 342).

В конце 20-х годов литературе явился уникальный эстетический феномен — язык А. Платонова, «пик, — по определению Иосифа Бродского, — с которого шагнуть некуда».

«...Первой жертвой разговоров об утопии — желаемой или уже обретенной, — считает Нобелевский лауреат, — прежде всего становится грамматика, ибо язык, не поспевая за мыслью, задыхается в сослагательном наклонении и начинает тяготеть к вневременным категориям и конструкциям; вследствие чего даже у простых существительных почва уходит из-под ног, и вокруг них возникает ореол условности.

Таков, на мой взгляд, язык прозы Андрея Платонова, о котором с одинаковым успехом можно сказать, что он заводит русский язык в смысловой тупик или — что точнее — обнаруживает тупиковую философию в самом языке. Если данное высказывание справедливо хотя бы наполовину, этого достаточно, чтобы назвать Платонова выдающимся писателем нашего времени, ибо наличие абсурда в грамматике свидетельствует не о частной трагедии, но о человеческой расе в целом...

Платонов говорит о нации, ставшей в некотором роде жертвой своего языка, а точнее — о самом языке, оказавшемся способным породить фиктивный мир и впадшем от него в грамматическую зависимость» (Известия. 1989. 31 августа).

Действительно, в языке писателя не только отражаются некие образы, картины, процессы из реальной жизни, его язык агрессивен, он активно формирует мир, который, несмотря на свою «фиктивность», существованием образом влияет на происходящее вокруг.

Сплавленные воедино талантом Платонова осколки дореволюционной речи, обрывки современных лозунгов, стилистические штампы из газетной речевой стихии, канцеляризмы, кальки с крестьянского и мещанского просторечия и т. д. образовали несомненно русский, но какой-то необычный язык, — язык, ставший знаменем не одного только своего времени и не одной только конкретной ситуации, возникшей в нашей стране на рубеже 20–30-х годов.

Вчитайтесь: «— Говори безгранично, до вечера времени много, — сказал Копенкину председатель. Но Копенкин не мог плавно проговорить больше двух минут, потому что ему дезли в голову посторонние мысли и уродовали одна другую до невыразительности, так что он сам останавливал свое слово и с интересом прислушивался к шуму в голове.

Нынче Копенкин начал с подхода, что цель коммуны „Дружба бедняка“ — усложнение жизни, в целях создания запутанности дел и отпора всею сложностью притаившегося кулака. Когда будет все сложно, тесно и непонятно, — объяснял Копенкин, — тогда честному уму выйдет работа, а прочему элементу в узкие места сложности не пролезть. А потому, — поскорее закончил Копенкин, чтобы не забыть конкретного предложения, — а потому я предлагаю созывать общие собрания коммуны не через день, а каждодневно и даже дважды в сутки: во-первых, для усложнения общей жизни, а во-вторых, чтобы текущие события не утекли напрасно куда-ни-

будь без всякого внимания, — мало ли что произойдет за сутки, а вы тут останетесь в забвении, как в бурьяне...

Копенкин остановился в засохшем потоке речи, как на мели, и положил руку на эфес сабли, сразу позабыв все слова. Все глядели на него с испугом и уважением» (Платонов А. Чевенгур. М., 1991. С. 142).

Когда предложение Копенкина «голосовалось», «рыжеватый член коммуны с однообразным массовым лицом» воздержался «для усложнения». Выразительная и многозначительная сцена! Скажу только об одном. Труд души, в результате которого вырабатываются нравственные устои, эстетические критерии и другие духовные ценности, — показывает писатель, — постепенно сходит на нет. В сознание человека внедряются готовые стереотипы о классовой непримиримости, коллективизме, оптимизме и т. п. Эти процессы неизбежно сопровождаются обесцениванием слова. Платонов обнаруживает, что личность утрачивает свою индивидуальность, растворяется в массе. Он фиксирует успехи в вытравлении неповторимого в человеке и торжество коллективизма, который, конечно же, плох не сам по себе, он неприемлем, когда подавляет, нивелирует личность.

В годы гражданской войны поэты Пролеткульта провозглашали: «Мы железобетонные лирики» (Н. Сказин);

Мы подняли смерч крылатый,
Взрыли поля чугуном,—
Мы требуем полной платы
За столетия, убитые сном.

В Александровский

Мы во власти мятежного страстного хмеля.
Пусть кричат нам: «Вы палачи красоты».
Во имя нашего завтра — сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.

В Кириллов

Обратите внимание: в литературе начала двадцатых годов на первом плане стояло изображение народа, народных масс. Персонаж оценивался в зависимости от того, в какой мере ему удалось выразить собой множества. Уж на что своеобразная личность Чапаев в романе Д. Фурманова, но и он, — подчеркивает автор, — интересен постольку, поскольку «олицетворяет собой все неудержимое, стихийное, гневное и протестующее, что за долгое время накопилось в крестьянской среде». Анализ взаимоотношений героя и массы занимает основное место в «Железном потоке» А. Серафимовича, «Разгроме» А. Фадеева, «Партизанских повестях» В. Иванова и во многих других. Жизнь развивалась таким образом, считал А. Луначарский, что «ни одно „я“ не слишком ценно, чтобы не быть принесено в жертву нашему „мы“». Мысль о том, что именно сплочение, слияние людей в единый массив — залог победы революции и явится в дальнейшем

гарантией грядущих успехов нового общества, эта мысль главенствовала в книгах многих писателей.

Воспевая подвиг народа, футурист (!) В. Маяковский – знамение времени – даже снял свою фамилию с обложки первого издания известного произведения: «150 000 000 мастера этой поэмы имя... 150 000 000 говорят губами моими».

Исследование психологии масс в литературе начала 20-х годов очевидным образом преобладало над исследованием внутреннего мира персонажа.

Своеобразным апофеозом нивелирующего коллективизма прозвучали знаменитые строки Маяковского (теперь уже соцреалиста): «Единица! Кому она нужна!... Единица – вздор! Единица – ноль!...»

Не с этого ли все и начиналось?! Были впрочем в литературе и оппоненты, считавшие, что подобный коллективизм и труд души – две вещи несовместные. Язык персонажей М. Булгакова, Е. Замятина, М. Зощенко, А. Платонова и других писателей, свидетельствовал о падении нравственности, торжестве серости, алчности, зависти, демагогии. Но их книги игнорировали, их судьба оказалась трагичной. Так, Е. Замятин в романе под выразительным заглавием «Мы» нарисовал зловещую картину-предостережение. Увы! Мало кто из современников вянул ему, и писатель, не пожалевавший «счастливого жребия» Государственного поэта (персонаж романа «Мы») «увенчивать праздники стихами», покинул страну.

Прошло двадцать лет. На другом конце Европы другой писатель сказал о том же самом. В романе «1984» Дж. Оруэлл показал миру анатомию и физиологию тоталитарного государства. Хорошо знакомая картина! Какой тут может быть труд души? Он заменен усвоением набора готовых словесных штампов и стереотипов. Новояз – новый язык – великое благо: «...выразить неортодоксальное мнение сколько-нибудь общего порядка ко новояз практически не позволял. Еретическое высказывание, разумеется, было возможно – но лишь самое примитивное, в таком примерно роде, как богохульство. Можно было, например, сказать: «Старший брат плохой». Но это высказывание, очевидно нелепое для ортодокса, нельзя было подтвердить никакими доводами, ибо отсутствовали нужные слова. Идеи, враждебные ангосоцу, могли посетить сознание лишь в смутном, бессловесном виде, и обозначить их можно было не по отдельности, а только общим термином, разные ереси свалив в одну кучу и заклеив совокупно» (Новый мир. 1989. № 4. С. 127).

Зачем метаться, мучаться в поисках истины? Зачем сомнения и колебания – удел оторвавшегося от народа индивидуума? Что делать? Кто виноват? Прочь вопросы! Старший Брат обо всем подумал за вас. Благодарите Старшего Брата!

Исчезли совесть и справедливость? Прячется любовь? Тем лучше: короче будет путь к цели.

Обо всем этом и предупреждали в 20-е годы каждый по-своему: и А. Платонов, в языке которого нельзя не видеть элементов пародии на

советский новояз, и Е. Замятин, создавший в романе «Мы» убийственную картину «расчеловеченного рая», и М. Булгаков, выведший типы Шарикова и Швондера, носителей «пролетарского» миропонимания, изъясняющихся на соответствующем волаюнке, и М. Зощенко с его галереей персонажей, речь которых указывает на крайнюю степень их духовного оскудения.

Но все было тщетно, и на рубеже 20–30-х годов Эллочка Щукина, «резиновый» Польшаев, Остап Бендер, лихо и с успехом торговавший «торжественным комплектом, незаменимым пособием для сочинения юбилейных статей, табельных фельетонов, а также парадных стихотворений, од и тропарей», засвидетельствовали наличие в языке тревожных симптомов. Вообще книги, журналы, газеты этого времени дают возможность проследить процесс внедрения в русскую речь опасных метастаз новояза.

Все шло по Оруэллу: «Лексика была сконструирована так, чтобы точно, а зачастую и весьма тонко выразить любое дозволенное значение, нужное члену партии, а кроме того, отсесть все остальные значения, равно как и возможности прийти к ним окольными путями. Это достигалось изобретением новых слов, но в основном исключением слов нежелательных и очищением оставшихся от неортодоксальных значений – по возможности от всех побочных значений. Приведем только один пример. Слово „свободный“ в новоязе осталось, но его можно было использовать лишь в таких высказываниях, как „свободные сапоги“, „туалет свободен“. Оно не употреблялось в старом значении „политически свободный“, „интеллектуально свободный“, поскольку свобода мысли и политическая свобода не существовали даже как понятия, а следовательно, не требовали обозначений. Помимо отмены неортодоксальных смыслов, сокращение словаря рассматривалось как самоцель, и все слова, без которых можно обойтись, подлежали изъятию. Новояз был призван не расширить, а сузить горизонты мысли, и косвенно этой цели служило то, что выбор слов сводили к минимуму» (Там же. С. 123).

Против оскудения языка, против косноязычия боролось немало народу – писатели, журналисты, ученые, учителя, артисты. Ими сказано и написано много справедливого. Достаточно вспомнить гневные обличения К. Паустовского («Я подумал: до какого же холодного безразличия к своей стране, к своему народу, до какого невежества и наплевательского отношения к истории России, к ее настоящему и будущему нужно дойти, чтобы заменить живой и светлый русский язык речевым мусором») или книгу К. Чуковского «Живой как жизнь». Все они не могли молчать, хотя, дуется, понимали: обличение следствий без указания на причины вряд ли способно изменить ситуацию. Но причины...! Причины находились вне пределов досягаемости: «Доктор почувствовал приступ обессиливающей дурноты. Преодолевая слабость, он поднялся со скамьи и рывками вверх и вниз за ремни оконницы стал пробовать открыть окно вагона. Оно не поддавалось его усилиям.

Доктору кричали, что рама привинчена к косякам наглухо, но, борясь с припадком и охваченный какою-то тревогой, он не относил этих криков

к себе и не вникал в них. Он продолжал попытки и снова тремя движениями вверх, вниз и на себя рванул раму и вдруг ощутил небывалую, непоправимую боль внутри и понял, что сорвал что-то в себе, что он наделал что-то роковое и что все пропало» (Пастернак Б. Доктор Живаго. М., 1989. С. 367). Задышался человек, задышался язык.

К чести русской культуры — она долго сопротивлялась намерению свести все богатство и красоту духовной жизни человека к убогой, тупиковой философии «винтика», объяснить все разнообразие, сложность, противоречивость жизни мертвыми догмами «Краткого курса» и других подобных сочинений.

Язык — этот точный и надежный индикатор — свидетельствует: в обществе идут разные процессы. Да, ведется борьба за культуру, за духовность, за нравственность, за милосердие. Но язык, язык неопровержимо доказывает, как еще долг будет и труден путь. Новояз не отступает. Хотя поэт был прав: душа обязана трудиться. Здесь — спасение!



БОРИС ПАСТЕРНАК:

Анкеты, заявления, ходатайства 1920-х годов

С известной уверенностью можно сказать, что все, написанное Борисом Пастернаком для печати, уже опубликовано. Осталось то, что принято называть литературным наследством. Оно состоит, главным образом, из писем, корпус которых огромен, — изданные к настоящему времени письма и целые линии переписки лишь начинают ознакомление с важнейшей частью творчества Пастернака. По мере выявления и подготовки печатаются различные наброски и черновые записи, которых в сущности очень немного. В составе еще неизданного материала анкеты и заявления, написанные по официальным запросом, носят, пожалуй, наименее личный характер. И тут однако сразу следует оговориться, что отпечаток личности автора и его непосредственности в этих документах ничуть не меньше, чем в любом другом тексте Пастернака.

Предлагаемые для публикации материалы сохранились в разных государственных архивах. Своеобразие мысли и стиля Пастернака сделали их красочными свидетельствами неблагополучия и неустроенности жизни 20-х годов.

Каждое слово этих служебных документов выражает суть дела лаконично и обдуманно, каждое окрашено индивидуальностью воззрений и словаря Пастернака, особенность которых автору иногда приходилось объяснять.

В руках Пастернака эти канцелярские бумаги начинают дышать свободой, — заключенное в анкетную графу или скованное утилитарной целью, его слово сохраняет вкус и запах жизни, не впадая в сухой жаргон бюрократического делопроизводства, засоряющий наш язык. Находя нужные четкие определения для своей просьбы или недовольства, Пастернак не подгоняет их под общеупотребительный языковой шаблон, — не потому ли ни одно из этих ходатайств и просьб не было удовлетворено.

С другой стороны, надо отметить, что описывая свое бедственное положение, невозможность самостоятельным трудом добиться человеческого существования или издать написанные книги, Пастернак никогда не просит того, чего лишены или не получают другие, не выдвигает заслуг, которые ставили бы его на особое место, — он предоставляет свободу решать вопрос о его достоинстве тем, к кому он обращается и от кого это зависит. Подобное благородство и настоящий демократизм относятся теперь к давно забытым

пережиткам «абстрактного гуманизма» и выглядят анахронизмом, юродством или «уничижением паче гордости».

Специфика жанра, требующего предельного лаконизма, отказ от жалобных слов и настойчивости, отмеченное благородство позиции, так же, как характерный «пастернаковский» словарь и синтаксис, составляющий не «усложненную» форму, — как принято говорить о Пастернаке, — а углубленность смысла, — могут затруднить чтение публикуемых документов. Однако внимательный читатель, после первого ознакомления отметив в тексте указанные особенности, найдет еще и другие. У исследователей вызовут интерес неизвестные звания написанных Пастернаком к этому времени работ, либо утерянных впоследствии, либо напечатанных под другими, более поздними заглавиями.

Например, в «Анкете профсоюза» 1919 года (РО ИМЛИ, фонд 120, оп. 1, ед. хр. 18) известная книга «Сестра моя жизнь» названа «Нескучным садом» (см. пункт 1). Так будет именоваться большой стихотворный цикл следующей книги «Темы и вариации». Это свидетельствует о неустоявшемся составе «Сестры», еще включавшей в марте 1919 года стихи о болезненном разладе отношений Пастернака с героиней книги Еленой Виноград.

Написанная летом 1917 года как единое целое, книга «Сестра моя жизнь» весной 1919-го была впервые прочитана В. Маяковскому и в мае уже под своим окончательным названием включена в анонс организованного им «Издательства молодых».

В 1956 году перечисляя в очерке «Люди и положения» свои книги, в разное время и по разным причинам «затерявшиеся» и погибшие, Пастернак вспоминает среди прочих «статьи футуристического периода», «черновик романа в нескольких листового формата тетрадах, которого отделанное начало было напечатано в виде повести *Детство Люверс*» и «перевод целой трагедии Суинберна из его драматической трилогии о Марии Стюарт».

В «Анкете» 1919 года эти вещи указаны как существующие.

В списке статей, которые составляли теоретическую книгу «*Quinta Essentia*», Пастернак называет неизвестную нам статью о Генрихе Клейсте (пункт 7,1), написанную в 1914–1915 годах. Она сопровождала перевод комедии Клейста «Разбитый кувшин», отданный в журнал «Современник», и была возвращена автору неопубликованной.

Статья о Шекспире (пункт 7,3) была написана весной 1916 года на Урале. К широко отмечавшемуся в апреле 1916 года 300-летию юбилею Шекспира статья была послана в «Русские ведомости», которые ее не напечатали, и рукопись вернулась к автору.

Из шести статей, которые входили весной 1919 года в предполагавшуюся книгу, сохранилась только одна, опубликованная в 1921 году под названием «Несколько положений» в альманахе «Современник». В «Анкете» 1919 года она носит заглавие «*Quintessentia*» (пункт 7,4); так же она называлась в рукописи, которую в 1970 году Л. С. Флейшман обнаружил в архиве Академии Наук в Киеве.

С некоторой долей уверенности можно предположить, что статья, в «Анкетe» названная «К естественной истории дарования» (пункт 7,5), основана на опыте Маяковского. В рецензии 1917 года на книгу «Простое как мычание» Пастернак рассматривал первые шаги Маяковского в литературе как естественную историю всякого современного дарования.

Пастернак говорит в «Анкетe» (пункт 6) о трех повестях, из которых была напечатана только «Апеллесова черта» во временнике «Знамя труда» в 1918 году. О работе над новеллами, которые должны были, по мысли автора, составить книгу прозы, Пастернак писал зимою 1917 года из Тихих гор на Каме. Одну из них он назвал «Карета герцогини», недописанная рукопись другой озаглавлена «История одной контроктавы». Но какие именно три повести имел в виду Пастернак весной 1919 года, сказать трудно, и не понятно, как соотносятся с «Анкетой» «Письма из Тулы» (апрель 1918), «Безлюбье», глава из повести (ноябрь 1918), «Три главы из повести» (напечатаны в июне 1922 года в газете «Московский понедельник») или недавно найденная М. А. Рашковской странная машинопись из архива Лефа под названием «Вторая глава. Петербург», которая, по предположению публикатора, написана в 1917–18 годах. Можно еще вспомнить повесть «Чужая судьба», о которой Пастернак писал в 1926-м М. Цветаевой, датируя время ее создания 1916 годом.

Разнообразие дошедших до нас «глав» из повестей, которые были написаны в это время, вполне оправдывает заявление Пастернака в «Анкетe» 1919 года, что последние два года, *главным образом*, он пишет прозу (пункт 7). При этом своей «центральной вещью» он называет роман в 15 печатных листов. Об этом романе, определяя его объем несколькими тетрадами листового формата, Пастернак вспоминает в очерке «Люди и положения». В ЦГАЛИ хранится одна из этих тетрадей, — то самое отделанное начало, которое было издано как повесть «Детство Люверс». Весной 1918 года Пастернак писал, что роман предположительно называется «Три имени».

В «Анкетe» 1919 года обращает на себя внимание резкое отталкивание Пастернака от уродливых форм, в которых проходило тогда знакомство читателей с литературным творчеством. Пастернак дважды повторяет, что по причинам принципиальным не может принять современной практики «молдых», выступавших с чтением своих вещей перед неподготовленной аудиторией клубов и завсегдатаями кафе и ресторанов (пункт 8).

В статье «Несколько положений», написанной в декабре 1918 года, Пастернак со всей определенностью обрушивается на профанирующую искусство пошлость подобных выступлений:

«Современные течения вообразили, что искусство как фонтан, тогда как оно — губка. Они решили, что искусство должно бить, тогда как оно должно всасывать и насыщаться. (...) Ему следует всегда быть в зрителях и глядеть всех чище, восприимчивей и верней, а в наши дни оно познало пудру, уборку и показывает ее эстрады».

Резкое разграничение между прямым заработком — «оплатой художественно оригинального труда при возможности издания» и побочным

есть «непрерывной работой над переводами» вскрывает трагедию литературной биографии Пастернака, вынужденного большую половину жизни посвящать переводам.

Каторжная обстановка, при которой добывался этот «побочный заработок», описана в «Ходатайстве в ЛИТО Наркомпроса», на котором стоит резолюция: «Постановлением ЦК отказать. 15 июля 20 г. Секретарь (подпись)» (ЦГАОР, фонд 2306, оп. 22, ед. хр. 92).

Пастернак обращается в ЛИТО именно потому, что весной 1920 года Отдел приобрел первый том его собрания сочинений в 4.900 стихотворных строк. В журнале «Художественное слово» (1920, № 1), издаваемом Лит. Отделом Наркомпроса, была опубликована рецензия И. Аксенова на «Первый том собрания сочинений Б. Пастернака». Так что о «художественном значении соискателя» ЛИТО мог бы составить себе представление.

Заявление в Госиздат написано Борисом Пастернаком в защиту авторского права своего отца художника Леонида Пастернака, который передал издательству автолитографию портрета Бетховена, сделанного им в декабре 1920 года. В сентябре 1921 года Л. О. Пастернак с разрешения Наркомпроса уехал на длительное лечение в Берлин. Сын взял на себя труд вести переговоры с Государственным издательством по поводу расценок, установленных Изобразительным отделом Всероссийского союза работников искусств (Изо Всерабис) без учета специфической природы художественного труда. Текст заявления, хранящийся в ЦГАОР (фонд 395, оп. 1, ед. хр. 197), любезно предоставлен нам Р. М. Романовой.

Не удалось установить, для чего писалась краткая автобиография, сохранившаяся в РО ИМЛИ (фонд 120, оп. 1, ед. хр. 22). Она не датирована автором, но, судя по содержанию, относится к весне 1922 года.

Пастернак пишет в ней о скором издании третьей и четвертой книг стихов «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», выпущенных последовательно в июне 1922 и январе 1923 года. Здесь же мы впервые узнаем о гибели в типографии рукописи драмы А. Суинберна «Шателляр», которая в «Анкете» 1919 года еще значилась как существующая.

Совершенно несостоятельными оказались предположения Пастернака насчет издания переводных работ, сделанных им в 1918–1919 годах. Во «Всемирной литературе», по заказу которой они переводились, изданы были только две драмы Генриха Клейста «Семейство Шроффенштейн» и «Роберт Гискар». Второй том Клейста не вышел, равно как и «Алхимик» Бена Джонсона, который был напечатан только в 1932 году в издательстве «Academia».

В 1930-е годы изданиям Клейста, который считался «певцом прусской военщины», мешали сложные политические отношения с фашистской Германией. В переработанном виде «Разбитый кувшин» и «Принц Гомбургский» были изданы только в 1940 и 1941 годах. В ту же книжку «Избранных переводов» Бориса Пастернака 1940 года, где был напечатан «Принц Гомбургский», включены полностью масляничные интермедии Ганса Сакса.

В автобиографии 1922 года останавливает внимание отчетливо определившаяся основная канва поисков призвания и первых шагов Пастернака

в литературе, следуя которой он потом по-разному рисовал узор своих воспоминаний в повести «Охранная грамота» или очерке «Люди и положения».

Стремление к краткости и документальной точности заставило Пастернака несколько упростить в служебной бумаге сложную последовательность мелких моментов, и он назвал датой своего поступления в гимназию 1900 год, тогда как в этом году он занимался дома предметами 1-го класса, а зачислен был в 1901-м, сразу во 2-й класс, — как писал он позже в «Людах и положениях». Подобным образом он не отметил, что в 1908 году поступил сначала на юридический факультет университета, а на философское отделение перевелся только в 1909-м.

Но в этом документе, единственном среди нам известных, четко перечислены предметы его занятий музыкальной композицией. В автобиографических очерках эта тема освещается лирически, с точки зрения мучительного для него разрыва с музыкой, оставляя в стороне профессиональную серьезность пройденного им музыкального образования.

Сухость делового тона, которым Пастернак обозначает основные вехи литературного пути и дает список готовых к изданию книг, скрывает болезненно тяжелый период творческого перепутья, на котором находился в это время автор. Выход книг «Сестра моя жизнь» и «Темы и вариации», относящихся к пережитому в 1917–1918 годах, как он подчеркивает, выдвинул Пастернака в число первых литературных имен, но не вывел из мучительного тупика и недовольства собой. Намерения дописать и отделать роман о Жене Люверс оставались неосуществленными, переводные работы неизданными, лирика, как он сознавал, перестала звучать.

Взрванная войной и революцией «однородность жизни», на рост живых сил которой он надеялся, не могла восстановиться в то время, когда, по выражению Андрея Белого, торжество материализма упразднило матерно.

«Пространство, бывшее родиной матерни, — писал Пастернак об этом времени в «Охранной грамоте», — заболело гангреной тыловых фикций и пошло линючими дырами отвлеченного несуществования».

Такая жизнь не предоставляла возможности существования индивидуальной повести, то есть единственной фабулы лирического поэта.

Желая ускорить ее восстановление, в надежде на бытовые и общественные превращения, Пастернак зимой 1925 года принялся писать роман о Спекторском, но работа над фабулой о «человеке без заслуг», не получившая поддержки в лишенной реальной упругости среде без отзвука и подхвата, необходимого лирике, растянулась на семь лет и не сняла недовольства собой.

Об условиях, в которых ему приходилось работать в это время, с душевраздирающей откровенностью писал Пастернак в анкете о предоставлении квартиры, разосланной Всероссийским союзом писателей. Она сохранилась в РО ИМЛИ (фонд 120, оп. 1, ед. хр. 29), на ней стоит резолюция: «Отклонить», датированная 9 января 1929 года.

В публикации сохранены особенности авторской пунктуации и орфографии.

Анкета профессионального союза писателей и поэтов

В воскресенье 23 марта, в 12 час. дня, в помещении Союза (Никитский бульвар, дом 8, кв. 7) состоится общее собрание секции поэтов для обсуждения практических выводов из данных, приводимых ниже анкетой и для текущих дел. Желательно присутствие большего числа членов секции.

АНКЕТА

1. Есть ли у Вас свободные для печати книги стихов. Перечислите их, укажите название и размер каждой (общее число печатных страниц):

а) для переиздания:

Не представляется нужным.

б) новые:

Третья книга стихов. Название: «Нескучный сад», приблизительное число страниц: сто с лишним, точнее указать затрудняюсь.

2. Есть ли у Вас новые свободные оригинальные произведения для журналов и альманахов. Укажите их и приблизительное количество строк.

а) отдельные стихотворения:

Стихотворения, составляющие вышеназванную третью книгу. По качеству книги разрозниваю их только по необходимости. Предпочел бы издание книги стихов в целом виде.

б) поэмы

Нет.

3. Есть ли у Вас свободные для печати переводы. Названия и количество строк.

Нет, если под свободными не понимать рукописей, приобретенных издательствами и не издаваемых по техническим-типографским и иным условиям. — В противном случае — имеется: Альджернон Суинберн «Мэри Стюарт», трилогия, часть I «Шателяр».

4. С каких языков Вы можете переводить.

С немецкого, английского и французского.

5. Есть ли у Вас законченные произведения для театра. Названия, число действий, комедия или драма.

Нет (оригинальных). Переводные: Г. Клейст «Разбитый кувшин» — комедия; Клейст «Принц Гомбургский» — драма. Суинберн «Шателяр» — трагедия.

6. Пишете ли Вы, помимо стихов, художественную прозу.

Да; и в последние два года — главным образом — прозу. Роман в рукописи около 15 печатных листов, свободный для издания. Центральная вещь нижеподписавшегося. Повести, числом 3, по 1/2 — 1 листа каждая.

7. Есть ли у Вас отдельные книги или статьи, как новые, так и для переиздания, по вопросам поэзии. Названия и размер в печатных листах.

Законченных книг – нет. Задуманы и в частях, исполнены: *Quinta Essentia* (гуманистические этюды о человеке, искусстве, психологии и т. д.). Как составляющие эту книгу, готовые статьи: 1) О Клейсте, 2) О Тютчеве, 3) О Шекспире, 4) «*Quintessentia*», 5) «К естественной истории дарования», 6) О трагедии Суинберна.

8. Можете ли выступить с чтением своих произведений в Москве и в провинции.

Нет, в виду уродливости условий, в которых протекают выступления в настоящее время. Этот ответ может быть индивидуализирован: – с радостью, в среде писателей и поэтов, пользующихся моим уважением.

9. В каких периодических изданиях, альманахах и издательствах Вы работали раньше и в настоящее время.

Футуристических альманахах, сборниках и пр. В издательстве «Центрифуга», журнале «Рабочий мир», газете и временнике «Знамя труда», изд[ательстве] «Т. О.», изд[ательстве] «Всемирная литература». Теперь приглашен в сотрудники газеты «Дело парода».

10. Имеете ли Вы связь с каким-либо культурно-просветительным учреждением и каким именно.

С театральным отделом и «Всемирной литературой» при Нар. Ком. Прос., как учреждениями издательскими.

11. Имеет ли какое-либо отношение к литературной деятельности Ваш побочный заработок. Если имеет, то какое.

От побочного заработка, возможного в настоящее время, т. е. от службы государственной, после двух – трех попыток отказался решительным образом и их повторять не собираюсь. Таким образом побочного заработка не имею.

12. Какую часть Вашего бюджета составлял обычно Ваш литературный заработок и какую часть составляет он в настоящее время.

В настоящее время – 100% заработка. Раньше, по-разному, ближе определить, за разнообразием данных, не берусь.

Все ответы на вопросы настоящей анкеты крайне необходимо поручить для разработки их к собранию возможно скорее и во всяком случае не позже как в трехдневный срок со дня получения повестки.

Борис Пастернак

Адрес: Воллонка, дом 14, кв. 9.

15 марта 1919

* Относительно побочного заработка. – Непрерывной работы над переводами, (против которого, как заработка, ничего возразить не имею), прямым его видом считать не могу; прямым заработком считал бы оплату художественного оригинального труда, при возможности издания. Однако от той формы, которую это приобрело среди «молодых» – отказался, по причинам принципиальным.

В центральную коллегию
Лит. Отд. Наркомпроса

14.VI.920

Ходатайство

В том предположении, что нижеизложенное всего естественнее подлежит сфере компетенции и обсуждению Лито, и что среди статей сметы Лит. Отдела может найтись рубрика, предвидящая подобные положенья, покорнейше прошу Коллегию уделить внимание настоящему заявлению.

Я нигде не состою на службе и существую исключительно на профессиональный заработок. Чтобы дать понятие о напряженности труда, который для этого требуется и который мною проявлен в течение одного года, приведу перечень исполненных работ. Это, главным образом, переводы, сделанные по заказу Всемирной Литературы и Тео. Если исключить промежутки несчастной безработицы, в общем дающие месяцев 5 сроку, то за остальные семь счастливых месяцев, я перевел: 3 стихотвор(ые) драмы Клейста: «Принц Гомбургский», «Семейство Шроффенштейн», «Роберт Гискар». 3 интермедии Ганса Сакса (стихотворн(ые), как впрочем и все без исключения) работы), 80 октав Гете (Стихотвор(ения) и фрагм(ент) «Тайны»), Бен Джонсона «Алхимик» (комедия) и несколько стихотв(орений) Ш. Ван Лерберга.

В цифрах этот итог достигает 12.000 (двенадцати тысяч) стихов. Это именно та степень напряжения, та форма и та каторжная обстановка работы, когда ее проводник и исполнитель, первоначально двинутый на этот путь силою призвания, постепенно покидает область искусства, а затем и свободное ремесла и наконец, вынуждаемый обстоятельствами видит себя во власти какого-то непосильного профессиональн(ого) оброка, который длится, становится все тяжелей и тяжелей и которого нельзя прервать в силу роковой социальной инерции. Между тем единственный источник про довольствования, ему доступный, — спекулятивный рынок становится все более и более недостижим, все дальше и дальше уходит от него в область какого-то сказочного и трагического издевательства над его несвоевременным гражданским простодушием.

Весною этого года правительство пришло на помощь и не таким, как я. Мой вопрос (относительно академического пайка) представлялся мне настолько ясным и настолько правым, что я не стал выделять его из его общей коллективной постановки. Я имею в виду обещанья, данные в эт(ом) отнош(ении) Всеросс(ийскому) Проф. Союзу Писателей. Но вот существовать становится уже почти невозможно, а между тем вопрос этот по отношению к корпорации никогда м(ожет) б(ыть) и не разрешится. Обстоятельства вынуждают меня теперь поставить его не корпоративно, персонально, особняком как поступили, мож(ет) быть давно уже те представители Союза, которым паек предоставлен третий месяц. Настоящим ходатайством я делаю первую попытку и думается, не ошибусь направлением, адресовавшись в Литературный Отдел.

Если пайки, отпущенные Отделу, уже розданы, б(ыть) мож(ет) предвидятся новые. Мож(ет) быть у Лито окажутся вакантные. Мож(ет) быть на

мечаются работы литературного или ученого характера, дающие право на это дарование жизни. Во всяком случае я ходатайствую об этом праве. Я знаю, два основания требуются для него. Наличие действительной потребности, скажем лучше: — нужды. Как мог, я показал ее. Странная и вопиющая игра случайности. Мой отец, академик Л. О. Пастернак, тоже нигде не служащий и продолжающий зарабатывать средства для существования одною живописью (реальн(ым) трудом), произведения которого имеются в Люксемб(ургском) Музее (Париж), в Лондоне и др(угих) муз(еях), тоже не получил пайка, потому что тоже предпочел путь корпоративный. Другое основание для получения акад(емического) пайка — худож(ественное) значение сонскателя, его одаренность. Здесь кончается мое заявление. Кому об этом и судить, как не Лито, если вообще это выяснимо.

Член-учр. Всер. Проф. С. Писат(елей)

Член презид. Проф. С. Поэтов

Б. Пастернак

В ГОСИЗДАТ

Заявление

В «Сдельном тарифе ИЗО ВСЕРАБИСА (МСК 1921)» художественный труд понят и трактуется так сказ[ать] атомистически, процесс работы разбит, в насильственной аналогии с ремесленно-рукодельным, на произвольные моменты и часы, дающие очень искаженное представление об истинной природе художественной работы и о ее ходе. Эта пятажка сделана в очевидном стремлении приблизить тарифы к пониманию ВЦСПС или Наркомтруда при очень нелестном представлении о понятливости последнего. Тарифы дают, правда, возможность оправдать любой счет аналитическим путем подгоняя его под любую вольно назначаемую цену, задним числом, тарифных компонентов и производителей, дающих требуемое произведение, но иногда эта прозрачная задача, известная в арифметике под именем разложения на первоначальные множители — ниже художника, уважающего свой труд и его элементарную неразложимую ценность. Она пропорциональна времени скорее обратно, нежели прямо, как понимают ее тарифы. Она состоит в редкости и неповторяемости некоторых работ, в том, что иные из них делаются раз в несколько лет или раз в жизни, а никак не в произвольно частой ее повторимости или фиктивно долговременном выполнении.

Художник Л. О. Пастернак назначил, в соглашении с Госиздатом, за свой портрет Бетховена (литогр(афия)) семь с половиной милл(ионов) (7.500.000) р(ублей) от того, что это раз в двадцать менее того, что он за ту же вещь взял бы в довоенное время или в настоящее — за границы, а такой коэффициент удешевления худ(ожественного) труда представляется ему достаточным. Эту сумму можно слогарифмировать и по «Тарифам». Но тогда получается, что за свою работу ему следует получить 571.388 руб(лей), а за наблюденье, корректуру и т. д. 7.000.000 р(ублей).

14 ноября 1921 г.

Б. Пастернак

Автобиография**Борис Леонидович Пастернак**

Сын художника, академика Л. О. Пастернака.

Родился в Москве 29 января (ст. ст.) 1890 г.

В 1900 г. поступил в Московскую 5-ю классическую гимназию, которую и окончил в 1908 г. с золотой медалью.

В гимназическую пору, начиная с 1904 г. много и почти преимущественно занимался музыкой (композицией). Занимался под руководством Ю. Д. Энгеля, а впоследствии – фугою, формами, контрапунктом и пр. с Р. М. Глиером. В 1908 г. поступил в Московский университет на историко-филологический факультет по философскому отделению.

Университет окончил в 1913 г. Один семестр пробыл в Марбурге, слушая Г. Когена, П. Наторпа и Н. Гартмана. К литературе пришел поздно, двадцати четырех лет. Первая книга стихов – «Близнец в тучах» – 1914 г. Вторая – «Поверх барьеров» – 1916 г.

Третья и четвертая, только теперь выходящие – в материале своем восходят к 1917–1918 гг., за очень немногими исключениями. К этому же времени относится и написание (вчерне) большого романа, тогда же отделанное начало которого вышло в альманахе «Наши дни» повестью под названием «Детство Люверс».

Серьезная художественная работа прекращается со второй половины 1918 г. Наступает четырехлетний перерыв, большая часть которого занята стихотворною переводною работой по заказам ТЕО и Всемирной литературы. Перевел с английского – Ч. А. Суинберн «Шателляр» – трагедия (рукопись первых трех актов затеряна в типографии, списка не имеется).

Бен Джонсон. Алхимик, комедия – (Выйдет, вероятно, в издании ВХУТЕМАС'а). С немецкого.Гете. Тайны. Издательство «Современник». М., 1922.Ганс Сакс. Три интермедии. Госиздат.Клейст. «Принц Фридрих Гомбургский». Госиздат. Драма.Клейст. «Разбитый кувшин». Комедия. «Альциона».Клейст. «Семейство Шроффенштейн». Трагедия. «Всемирная литература».Клейст. Роберт Гискар. Неоконченная трагедия. «Всемирная литература».

(1922)

Анкета Всероссийского Союза Писателей*В виду того, что Федерация Объединений Советских писателей приступает к постройке дома писателей, Правление Всероссийского Союза Писа-*

телей просит Вас сообщить нуждается ли Вы в жилищной площади и в силу каких условий.

Необходимо представить нижеследующие сведения, удостоверенные документами:

1. *Имя, отчество, фамилия.*

Борис Леонидович Пастернак.

2. *Адрес.*

Волхонка 14, кв. 9 тел(ефон) 1-71-64.

3. *Размер занимаемой площади.*

50,87 кв. м.

4. *Количество комнат.*

Две, разделенные досчатой неоштукатуренной перегородкой, которую сам ставил. Условия для работы невыносимые.

5. *Количество членов семьи, проживающих на означенной площади.*

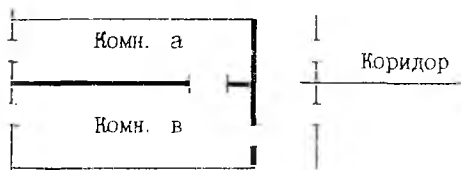
Трое: жена, сын и — нижеподписующийся. Кроме того воспитательница при сыне. Столовая помещается в комнате, где работаю, и тут весь день шум и толчея.

6. *Имеется ли дополнительная площадь.*

Да.

7. *Жилищные условия.*

Очень тяжелые. Старая отцовская казенная квартира переуплотнена до крайности, 20 человек (6 семейств) постоянно живущих. К этому надо прибавить частые посещения родных и знакомых по 6-ти самостоятельным магистралам. Перегородкой разделена сравнительно большая (50,87 кв. м.) комната, бывш(ая) отцовская мастерская, оставшаяся, в результате уплотнений истекших лет, мне. Комната для передела, по устройству печей и пр(очему), податливости не предоставляла: по установке перегородки получилось два узких, коридорообразных помещения. Перегородки не штукатурили, так что смотрел год из году на пребывание в данных условиях, как на временное; обстоятельства же и заработок из этих условий выйти не позволяли. Кроме того вся переделенная площадь с одного боку отделена от коридора тонкой дощатой перегородкой, которая двумя половинами составила внутренние стены новых комнат: таким образом штукатурить пришлось бы и их, а они, по тонкости своей, этого не допускают.



Отовсюду обложен звуками, сосредоточиться удастся лишь временами в результате крайнего, сублимированного отчаяния, похожего на самозабвенье.

Настоятельно нуждаюсь в перемене квартиры. Пожеланье. 3 или 4 комнаты (не менее 3-х), лучше бы 4. Площадь не менее 75 кв. м. Жена — художница, оканчивает в нынешнем году ВХУТЕМАС и будет нуждаться в рабочей комнате. Желательна комната для прислуги. Материальные затраты, с которыми могут быть сопряжены высказанные минимальные пожелания, думаю, легко покрою и осилю, переместиться в более сносные для работы условия.

На данный опрос Правления думал откликнуться тотчас же, но куда-то затерял настоящую бумагу и до сего дня, когда она отыскалась в боковом кармане осеннего пальто, отыскать не мог. Прошу мне этого запоздания в вину не зачитывать.

Борис Пастернак

13 ноября 1928 г.

Публикация Е. В. Пастернак ©

О состоянии русского языка *

Материалы почтовой дискуссии

Л. П. Крысин,
доктор филологических наук

I - II

Сочетание «состояние русского языка» я, пожалуй, не употребляю, но, услышав я его от кого-нибудь другого, — оно не вызовет у меня недоумения или непонимания. Конечно, можно говорить о состоянии языка, и совсем не обязательно метафорически уподоблять язык живому организму. Говорить о состоянии языка для меня — это, во-первых, оценивать его ресурсы (словесные, синтаксические и др.) и, во-вторых, характеризовать то, как эти ресурсы используются. Но язык не един, и каждый, употребляя сочетание «состояние языка», волен вкладывать в него свой смысл. Чаще всего, сетуя на плохое и даже ужасное состояние нашего языка, имеют в виду язык публичный: прессу, радио и телевидение, язык деловой документации, учрежденческой переписки, речи наших политических лидеров. И здесь, пожалуй, многие сходятся в оценках: ресурсы убогие и используются они плохо (отсюда «канцелярит», оскудение речи и прочие болезни, о которых много говорилось и писалось).

Но есть и другие «языки»: например, язык прозы Солженицына и Астафьева, разговорный язык Реформатского, язык устных рассказов Андроникова (а если говорить о сравнительно недавнем прошлом, то язык писем Марины Цветаевой или ее автобиографической прозы, язык научных работ В. И. Вернадского, А. Н. Крылова, мемуарных очерков К. Чуковского). И есть язык деревенской старухи: неважно, что это говор, и поэтому он по многим параметрам несопоставим с литературным языком: важно, что это тоже русский язык.

Ко всем этим «языкам» я бы не стал примерять оценки типа «оскудение», «серость», «штамп» и т. п. Напротив, это лучшие образцы русской речи.

III

Из трех предложенных метафор языка мне ближе «игровая» и «инструментальная».

Если иметь в виду язык как своего рода социальную игру, то для современного состояния этой игры характерно использование довольно бедного набора фигур (остальные — где-то там, за рамками активной игры

* Начало см.: Русская речь. 1992. №№ 2, 3.

в «запасниках», про которые многие просто не знают в соответствии с ограниченным кругом правил игры (я имею в виду главным образом синтаксис). Это — не только во всех видах публичной речи (хотя прежде всего именно в них), но и в спонтанно-разговорной, характеризующей повседневную коммуникативную практику людей.

Бедность набора фигур и ограниченность круга применяемых к ним правил можно интерпретировать и в духе инструментальной метафоры.

Материал однообразен. Настоящий мастер использует для разных целей и дуб, и липу, и осину, а неумелый гонит все из чего-то одного, полюбившегося ему: забор — из осины, и дверь — из осины, и на крышу у него идет осиновая щепка, и стол у него из осины... Работает он топором да молотком, потому и получается грубо и стандартно (мастер-то после топора рубанком да фуганком, да стеклышком и шкуркой, а где надо — долотом и стамеской, да и не все молотком — киянка тоже в ход идет: она, в отличие от металлического молотка, не оставляет следов на поверхности деревянных деталей).

«Делание как-нибудь, абы как» давно вошло в норму, в обычай. При этом одни из делающих вполне осознают низкое качество своей работы, но по лени или по обстоятельствам не могут работать иначе, а другие и не подозревают, что можно (и нужно) делать по-другому.

Так и с языком. Ну, разумеется, полной аналогии нет. Но роль мастера, роль образца здесь такова же, как в любой другой области. Все дело, однако, в том, что в обществе изменилось отношение к мастерству и образцовости. Рейтинг мастера значительно ниже рейтинга ловкача, умельца жить. Это имеет отсветы и в языке, в речи: статус языкового мастерства, образцовой речи — не тот, что, скажем, еще в начале нынешнего века.

IV

Пожалуй, все три репрезентации языка: тексты, структура, способность — взаимосвязаны. Если языковая способность у человека — так себе, то и производимые им тексты неизбежно плохи; если структура оскудевает, то речь, создаваемая в соответствии с этой структурой, оказывается бедной и бледной; плохая языковая способность вряд ли может использовать богатые структурные возможности и т. д.

Но такая взаимосвязь — факт тривиальный, и он мало что объясняет в состоянии языка. Ключ к объяснению в том, чтобы вытянуть что-то главное, а остальное представить в виде зависимых величин.

Мне кажется, главное — плохая, неудовлетворительная «языковая компетенция» большинства наших русских современников. (Причин этого много: и никудышное школьное образование — особенно в том, что касается словесности, — и низкий культурный — а значит и языковой — уровень учителей, и языковая убогость учебников, и неразвитость речевого общения в семье, и т. д.). Отсюда — «плохие тексты», в которых структурные возможности языка реализуются едва ли не на четверть. Но компетенцию нель-

зя улучшить без улучшения текстов, без повышения качества окружающей нас — и прежде всего учащихся — речи (вот она, взаимозависимость). Стало быть, надо менять, улучшать образцы, на которых русскому языку учатся в школе и в вузе.

Я это понимаю совсем не так прямолинейно, как иногда представляю процесс оптимизации школьного обучения русскому языку: написать новые учебники, издать другие хрестоматии (где бы, скажем, «Мать» Горького заменить Андреем Платоновым, а Демьяна Бедного — Пастернаком). Нет, процесс сложнее. Прежде всего, иной должна стать повседневная устная речь тех, кто обучает, — учителей, преподавателей (не такой серой, не столь шаблонной), а этого не достичь не только без коренной перестройки вузовского образования, но и без глубоких изменений в духовной культуре общества в целом и отдельного человека.

На этом месте можно возразить: до культуры ли нам сейчас, когда жрать нечего, когда люди озверело бросаются друг на друга? Надо сначала накормить человека, а потом уж окультуривать его... Это рассуждение, по-видимому, в марксистском духе (кажется, у Маркса есть нечто похожее: если человек не удовлетворил свои первичные потребности, он остается глух к искусству). Но сытый-то захочет ли культуры? Ему и так хорошо.

Не уверен, что правильна и другая крайность: начинать с культуры — тогда и озверелость людей исчезнет. Наверное, реалистичнее параллельность культурной работы — всякой иной: развивать культуру (в том числе, конечно, и языковую), приумножать ее, делать ее достоянием всех, вероятно, нужно всегда, сколь бы тяжелыми и неблагоприятными ни были времена, какие бы физические и материальные тяготы ни выпадали на долю простых смертных. Ведь культура — это то, что отличает человека от зверя, и пока она есть, пока душа отзывается не только на весть о колбасе в ближайшем магазине, но и на звуки музыки, на мастерски написанный пейзаж или на удачно сказанное слово, — человек застрахован от того, чтобы опуститься на четвереньки и окончательно оскотиниться.

Конечно, Вы правы: состояние русского языка обусловлено не только тем, как, но и тем, что мы говорим; оно напрямую связано с состоянием культуры. Но едва ли духовное здоровье общества зависит прежде всего от филологов-русистов: при малых силах сих последних этот вывод делает почти нереальной задачу возрождения культуры.

Л. Н. Мурзин,
доктор филологических наук

Очевидно, «состояние языка» — это категория чисто оценочная. Но Вы правы, полагая, что социальные оценки всегда базируются на каких-то объективных качествах оцениваемого языка. Только, я думаю, не всегда

эти качества находят в сознании носителей языка адекватное отражение, что лингвистам в их разысканиях нельзя не учитывать.

В массовом языковом сознании господствуют ложные ценности, трудно искоренимые предрассудки. Одни из них связаны с отношением языка к мышлению, а другие — с представлением о языковой норме.

Известен наивный взгляд на отношение языка и мышления: слово и обозначаемый им предмет тождественны. Отсюда вытекает широко распространенное суждение, что если человек плохо мыслит, то он плохо и говорит. А так как не только русский народ в целом, но и носителей литературного языка в течение десятилетий отучали думать, то в глазах многих виновником такого состояния общественного сознания делается русский язык. Не объясняются ли этим те сугубо отрицательные оценки состояния русского языка, с которых Вы начинаете свои тезисы?

Думается, есть и другие причины для указанных оценок.

Всем известно «брюзжание» старшего поколения относительно вкусов, пристрастий и поведения младшего. Язык как частный случай поведения последнего не может не подвергаться остракизму со стороны старшего поколения. Действительно, кто главным образом «критикует» состояние русского языка, если не люди преклонного возраста? Любопытно было бы иметь соответствующую статистику.

Суждения о состоянии языка в значительной степени основаны на убеждении в принципиальной неизменности языка. Соссуrowsкий взгляд на язык как на статистическое явление опирается на то же убеждение! У языка нет никаких логических оснований изменяться, а потому он и не должен изменяться. Если же вопреки этому мы наблюдаем в речи соседа какие-то новации, то это не может восприниматься как порча, недопустимое коверканье языка или даже нонсенс.

Такой взгляд на язык влечет отрицание вариативности языковых единиц и имеет своим следствием обиходное представление о норме: языковая норма невариативна, язык не допускает никаких так или иначе осознаваемых вариантов. Потому подлежат безусловному осуждению заимствования, диалектизмы, просторечие, тем более сленговые формы и т. п. Говорящий, столкнувшись с возможными вариантами, якобы обязан выбрать один и только один, единственный, но правильный вариант, то есть по существу лишен свободы выбора: язык навязывает ему свою волю. Как это, между прочим, соответствует внедренной за десятилетия в наше сознание «социалистической морали», идеологизированной культуре, установившемуся стандартному мировоззрению!

Изгнание вариантов из системы (нормы) языка приводит, естественно, к его обеднению, что порождает вполне законное недовольство носителей языка. Но любопытно, что это недовольство в большей степени стало проявляться не в 30–50-е годы — в период господства тоталитарной идеологии, а сегодня, когда идеология рушится, и язык стремительно обогащается лексически, фразеологически и даже просодически. Следовательно, гораздо больший протест у носителей языка вызывают новации разного рода, чем

их отсутствие; с бедностью языка, как это ни парадоксально, они мирятся охотнее, чем с его обогащением.

Очевидно, здесь сказывается также идеальность языковой нормы в общественном сознании, норма есть привычка говорить так, а не иначе: а привычка, как сказал поэт, выше нам дана. Поэтому, уже в силу консерватизма общественного сознания, состояние языка оценивается негативно в большей степени, когда наблюдается языковая раскованность, обретает большую силу свобода языка, расшатываются языковые привычки. (Ср. социальные процессы, связанные с «освоением» новых идей в наших парламентах.)

Таким образом, отрицательные (положительные?) оценки состояния языка и само состояние отнюдь не всегда соответствуют друг другу. Меня не смущают усиливающиеся голоса протеста против русского языка в его современном состоянии. Напротив, они служат достаточным основанием для оптимистического, если не мажорного тона, когда мы оцениваем русский язык в настоящее время и перспективы его развития.

Пермь

**О. Б. Сиротинина,
доктор филологических наук**

1. «Состояние русского языка» – это сочетание мне никогда не приходилось употреблять. Считаю, что у нас очень плохое, просто катастрофическое состояние речевой культуры, о чем свидетельствуют прежде всего трансляция заседаний съездов народных депутатов и сессий Верховных Советов, наши газеты, произведения многих писателей, речь учителей русского языка и литературы и их исправления письменных работ школьников.

Однако это, по-моему, не означает плохого состояния самого русского языка. Я считаю, что ни об упадке, ни об оскудении, обеднении, тем более вырождении его говорить нельзя. Вмешательство, и очень серьезное, необходимо в речевую культуру общества (специальные курсы для депутатов, штрафы для ошибающихся работников радио и телевидения, квалификационные собеседования для учителей и т. д.).

2. Думаю, что при древесной метафоре языка русский язык сейчас – иора роста ветвей и листьев с естественной их сменой по мере гибели отдельных листочков.

При шахматной метафоре – многие носители русского языка забыли правила и не умеют делать нужные ходы, количество фигур не уменьшилось, но появились новые, не для всех понятные.

При компьютерной метафоре – есть недоброкачественность систем продукции, т. к. не все правила находят применение, преобладающими у некоторых пользователей оказываются правила, подходящие не для всех сфер.

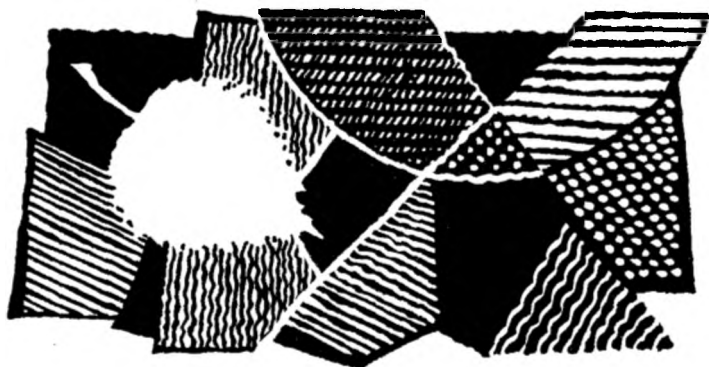
3. Думаю, что язык – это способность, которая проявляется в текстах и моделируется в описаниях лингвистов. Неудовлетворенность прежде всего текстами и компетенцией отдельных носителей языка, производящих эти тексты. Разумеется, никакие описания структуры языка никогда не могут быть полностью ей адекватными – отсюда всегда неудовлетворенность этими описаниями.

4. Конечно, наша обеспокоенность связана не только с тем, как мы говорим, но и с тем, что мы говорим, но все же для филологов должна быть главной обеспокоенность состоянием речевой культуры. Это состояние уже подействовало на вспомогательные структуры языка – правила пунктуации: уменьшились различительные возможности знаков препинания, то есть возможности передачи своих мыслей другим (тире и двосточие в бессоюзных предложениях стали употребляться без смыслового разграничения, появилось чисто формальное обособление в субстантивной группе и т. д.). Явно снизилась нетерпимость к ругательствам (свидетельство низкого уровня общей культуры человека), в том числе и у «защитников» русского языка, например, В. Белова, А. И. Солженицына и т. д.

Дальнейшее снижение речевой культуры может уменьшить и различительные возможности самого языка, то есть привести к его упадку, но надеюсь, что этого никогда не произойдет.

Саратов

Продолжение следует



Звонкое ИНОЯЗЫЧИЕ *

Н. В. Новикова,
кандидат филологических наук

Сейчас трудно быть уверенным в том, что агрессивное вторжение англицизмов в другие языки в ближайшие годы прекратится или хотя бы пойдет на убыль и что другие языки тоже начнут «вносить свой вклад в интернациональную языковую копилку». Именно это обстоятельство вызывает естественный протест у многих наших современников, заставляет их бить тревогу и выступать с призывами поставить заслон против проникновения чужезычной лексики.

Резкую неприязнь к лексическим «инородцам» испытывает и значительное большинство наших соотечественников, выступающих с призывами сохранить чистоту русского языка а не «засорить» родную речь чуждой ее строю и духу лексикой.

Займствований с каждым днем все больше и больше проникают в нашу речь через средства массовой информации. Результатом такого увлечения «импортной» лексикой нередко является информационная «опустошенность» материала и, как следствие, полная его бесполезность, ибо для основного круга читателей значения большинства заимствований, особенно новых, не отраженных еще в специальных словарях и справочниках, остаются нераскрытыми. Вот как об этом пишет, например, журналист В. Горленко в своей статье «Экология языка», обвиняя в этом «грехе» в определенной мере и своих коллег: «Сыплющиеся, как из рога изобилия, к месту и не к месту, они порой затуманивают, а то и просто искажают

* Начало см.: Русская речь. 1992. № 3

смысл сказанного или написанного. Чего уж греха таить, и наш брат - газетчик так наловчился щеголять звонким иноязычием, что иная статья не столько проясняет, сколько морочит читателю голову. Ради красного словца, как говорится...» (Правда. 1989. 17 марта.)

Приведем лишь некоторые примеры широко разлившегося на газетных страницах «звонкого иноязычия»: «Не само даже выступление интересовало таинственного знатока отечественной классики, а голосование. Удастся ли собрать достаточное количество голосов для *импичмента* по-съездовски?» (Комс. правда. 1990. 9 янв.); «Все началось с того, что в ночь на 4 июня в самом центре города на Хайрстрит была убита Алиа Сау, жена местного *бутлеггера* и мать четырех детей» (Комс. правда. 1990. 21 марта); «Таким образом, эта ночь не состояла из обычных фестивальных *сетов*, не был это и распространенный *фриджазовый „воркшоп“*: „*карусель*“, вращаясь, выводила на сцену неожиданные дуэты, трио и квартеты, так что все пятнадцать музыкантов поиграли в самых непредсказуемых сочетаниях» (Моск. комсомолец. 1990. 20 дек.); «Полкевич был шкипером знаменитого *кетча „Штормфогель“*, а в 1975 году он в одиночку пересек Атлантический океан на спасательной шлюпке. Итальянский „*рейнджер*“ испытал и жару пустыни Каракумы, покорил полюс холода на Оймяконе...» (Комс. правда. 1990. 2 марта); «...если вы уверены в себе, если чувствуете, что нравитесь окружающим, — любая проблема для вас не проблема. Ассоциация *шейпинга*, созданная в Ленинграде, поможет вам достичь вашего идеала красоты» (Комс. правда. 1990. 8 марта).

Любопытно отметить по поводу слова *шейпинг* то, что оно было заимствовано советскими специалистами из английского языка для названия разработанной ими новой спортивной методики. И оказывается, как это ни парадоксально, что нашим соотечественникам гораздо легче разработать новую, до сих пор не использующуюся нигде в мире методику, чем найти ей соответствующее обозначение в родном языке. Такая погоня за новым, красивым, звучным, а иногда и непонятным для «непосвященных» названием приводит к тому, что крестьянин-единоличник (говоря «простым» языком — арендатор) хочет быть только *фермером*, бандит-вымогатель называется не иначе, как *ракетир* (можно еще звучнее — *рэкетмен*), а женщина легкого поведения и совсем уж необычно красиво и загадочно — *путана*.

Более того, некоторые русские слова начинают вызывать у определенной части носителей языка ложные ассоциации с английскими словами. Несколько лет назад в журнале «Наука и жизнь» в статье, сообщавшей о создании гибрида белуги и стерляди, автор подчеркнул, что «best» в переводе с английского означает «самый лучший, наилучший», и название *бестер*, которое было дано гибриду (от белуга + стерлядь), действительно начало оправдывать свое название, скрытый в нем смысл. Остается только удивляться, как русский человек мог так «по-нерусски» переосмыслить это слово.

Вольно или невольно язык средств массовой информации все более и более становится одним из главных проводников американского влияния.

Особенно этим отличаются, по мнению канадского ученого И. Грабовски, такие издания, как «Комсомольская правда», «За рубежом», «Литературная газета», «Огонек», «Неделя» и некоторые другие.

С некоторых пор одним из каналов проникновения иноязычной лексики стали выступления наших депутатов. *Консенсус, регионализация, приватизация, плюрализм, популизм, конверсия, коррупция, консолидация* — ряд этот можно продолжить не одним десятком слов. Все это приводит к тому, что большая часть читателей, а особенно слушателей (ибо на слух воспринять обилие малознакомых иноязычных слов еще сложнее), оказывается неспособной воспринять поступающую информацию. Не помогают в этом случае даже справочные пособия и словари по той простой причине, что в них многие слова либо отсутствуют, либо объясняются с позиций того времени, когда эти словари создавались, то есть весьма однобоко.

Некоторые заимствованные слова за последние годы коренным образом изменили и свое значение, и стилистическую окраску. Например, слово *плюрализм*. Вот как оно определяется в существующих толковых и энциклопедических словарях: Плюрализм (лат. *pluralis* множественный) — 1) философское идеалистическое учение, утверждающее (в противопоставлении монизму), будто в основе мира лежит множество самостоятельных, независимых духовных сущностей (ср. также дуализм); 2) одна из главных идей в современных буржуазных и реформистских теориях общественного устройства, состоящая в том, что общественно-политическая жизнь якобы представляет собой состояние, конкуренцию множества социальных групп и представляющих их интересы партий и иных организаций; плюрализм противопоставляется марксистско-ленинскому учению о классах и классовой борьбе.

Сейчас же это слово употребляется во множестве совершенно иных оттенков значения, которые в большинстве своем сводятся к следующему: многообразие, множественность мнений.

Можно было бы, конечно, говорить о том, что не обязательно употреблять это слово, раз ему есть аналоги в русском языке. Однако, наверное, гораздо правильнее не запрещать те или иные слова, а оперативно издавать соответствующие справочные пособия и словари, где давать подробное толкование новой лексики, входящей в наш язык.

Чрезмерному распространению иноязычных слов способствует и небрежное, неразборчивое отношение к языку при переводе иностранной литературы. Как правило, для создания местного колорита чаще всего используются слова-экзотизмы, но ведь и здесь необходимо чувство меры.

Особым обилием американизмов отличается научная фантастика. Вызвано это тем, вероятно, что процессы сотрудничества и взаимного влияния народов и наций в политических, экономических и культурных областях в моделируемом писателями-фантастами гипотетическом обществе имеют значительно более интенсивный характер, чем в нашей современной жизни. Однако активное использование иноязычных слов в данном жанре

литературы может быть объяснено и тем, что они воспринимаются как необычные слова с «затемненной» внутренней структурой.

В основном, заимствованные слова в научной фантастике распределяются по двум тематическим группам: названия средств передвижения и названия различных видов оружия.

Первая группа представлена такими словами, как *ранд*, *скарп*, *лайдер*, *скутер*, *краулер*, *глайдер* и др. Ср., также: «С бархатным протяжным гудением *трансвей* примчался к платформе. Длинное тело многосекционного вагона замерло» (Биленкин. Город и волк); «Внося тело Симакова в кабину *скайдера*, Игонин не замечал ни помогавшего ему пилота, ни врача» (Биленкин. Холод на Трансплутоне); «*Флаер* стоял за вышкой — маленький, двухместный *флаер*, похожий на пеструю черепашку, скоростной, экономичный, удивительно простой и удобный в управлении» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Далекая Радуга).

Другую тематическую группу составляют слова *бластер*, *лайтинг*, *бустер*, *скорчер* и др. Особенно частотным является среди них слово *бластер*, которое со страниц научно-фантастических книг уже перешагнуло на страницы изданий других жанров. См. также употребление в текстах научной фантастики других образований: «У Стаса была возможность лично убедиться, как безотказно действует станнер на взбесившегося канадского волка, дракона-трекаба на планете *Фаргола* или песчаного подкопщика в пустынях Аль-Сафиры» (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Попытка к бегству); «Второй пилот вскочил. Нервно дернулся *лайтинг*. Из дула брызнула лиловая вспышка» (Биленкин. Космический бог).

Конечно, это можно было бы отнести к стилевым особенностям того или иного писателя, если бы мы имели дело лишь с единичными примерами. Однако, к великому сожалению, это далеко не так. Дело в том, что многие писатели-фантасты приняли за аксиому предположение, что в отдаленном будущем основой «синтезированного языка» будет английский. Даже собственные имена звучат в их произведениях на английский манер: Дин Скуорцофф, Диззи, Ник, Дэдди, кот Найт и множество других.

Нельзя сказать, что лингвисты и широкая общественность равнодушно относятся к такому виду импорта. В газетах и журналах время от времени встречаются статьи и заметки в защиту родного языка. Особенно часто появляются фельетоны на эту тему. Это и неудивительно, материал-то ведь поступает постоянно, и богатейший.

Вот, например, отрывок из такого фельетона: «Начальнику ЖЭК № 5 от жильца квартиры № 37 Селимонова К. П. Заявление. Пишу вам второй раз, сколько можно. В последнее *тайм* совсем доконали соседи своей звукоизоляцией... наша *лайф* дала трещину... В моей *фэмили* началось натуральное медицинское заболевание по нервам — заговариваемся. Встанешь *мошинг*, голова полна не наших *уодс*, а днем эти выражения из нашего рта так и лезут... Скажите соседям, пусть перестанут хулиганить *эт найт*. Хелл ми-а то хана. Отец *фэмили* трех *пилл* Селимоновофф».

Фельетон есть фельетон, и его автору свойственно представлять недостатки в смешном и чепуховом виде. Однако трудно возразить против того, что мы все более подвергаемся гипнотическому воздействию «американо-нижегородского» сленга, за которым довольно ясно стоит захлестнувшая многие слои нашего общества американомания.

Конечно, высмеивание — весьма эффективное средство борьбы с этим негативным явлением, но этого, разумеется, слишком мало. Предстоит долговременная, терпеливая работа и разъяснение, что такое хорошо и что такое плохо в нашей языковой культуре.

При этом важно донести до сознания масс, что борьба со злоупотреблением иноязычными словами — это не борьба одиночек, не проявление индивидуального вкуса писателей или ученых, это забота и боль каждого любящего свой родной язык человека. Лишь в этом случае призывы поставить заслон против вторжения слов-захватчиков найдут горячее сочувствие и поддержку в широких кругах нашего общества.

Третья волна

М. А. Грачев,
кандидат филологических наук

На протяжении XX века русский язык трижды испытал нашествие арготических слов (иначе говоря – лексики деклассированных элементов: преступников, бродяг, босиков, беспризорников, нищих и проч.). Любопытно, что вторжение арготизмов было связано с глобальными историческими событиями, социальными переменами, а также с активизацией уголовного элемента: 10–20-е годы – 1 мировая война, две революции, гражданская война, КЭП, полное амнистирование уголовных заключенных; 40–50-е годы – Великая Отечественная война и также полная амнистия криминогенного контингента; 80–90-е годы – перестройка, ломка важнейших политико-экономических структур, частичная амнистия.

Первая волна (10–20-е годы) и вторая волна (40–50-е годы) принесли ряд арготизмов в различные лексические системы русского языка – молодежный жаргон, просторечие, русский литературный язык и др.: *клевый* – «отличный», *для блезира* – «для вида», *очковтирательство* – «обман», *фигиль*, *доходяга* – «истощенный человек». Эти и им подобные арготизмы прочно закрепились в русском языке.

Что несет или уже принесла нам третья волна? Как относиться в настоящее время к арготизмам, которые уже проникли в общенародный русский язык? Постараемся ответить на эти вопросы.

Сейчас, когда наблюдается повсеместное нарушение речевых норм, смешение различных стилей, в речи подавляющего большинства социальных групп появилось множество арготизмов. При этом увлечение арготическими словами переходит в привычку, становится модой. Фактически повторяется речевая ситуация 20-х годов.

Обратимся к творчеству наших современных литераторов. При анализе художественных произведений особенно заметно увлечение арготизмами. Вот факты. Если с 1920 до 1989 г. советские и русские зарубежные писатели и поэты использовали в своих произведениях около тысячи арготизмов, то в художественных произведениях 1989–1990 гг. насчитывается уже более 2200 таких слов.

Книги же последних двух лет, немалая часть которых представляет жизнь деклассированных элементов, буквально перенасыщены арготизмами. Отдельные рассказы, повести и романы из-за чрезмерного количества

блатных словечек не только проигрывают в художественном плане, но порой просто непонятны массовому читателю. (Наглядной иллюстрацией этому служит, например, повесть Л. Габышева «Одлян, или Воздух свободы» Новый мир. 1989. № 6–7.)

Очень много арготизмов употребляется в кино. Чего стоят только названия некоторых кинофильмов: «Стукач», «Катала», «Авария – дочь мента», «Беспредел». Так искусство в стремлении к сомнительной популярности становится проводником арготизмов в речь молодежи. Напрасно считают некоторые лингвисты и педагоги, что увлечение экзотичными воровскими словечками с возрастом пройдет. Дело в том, что частое употребление таких слов становится привычкой, от которой не так-то легко избавиться. Любопытно, что даже у вполне серьезных людей 40–50 лет, которые никогда не были связаны с уголовным миром, порой проскальзывают в речи такие словечки, как *чувиха* – «девушка», *капать* – «доносить», *капать* – «идти». Все это идет из юности.

Известны два основных фактора, которые способствуют проникновению арготизмов в речь молодежи: 1. Их необычность, экзотичность, причудливость звучания. 2. Воровская романтика. Молодые люди, попавшие под влияние взрослых преступников или ровесников, побывавших в местах лишения свободы, стараются подражать им и начинают употреблять в речи блатные словечки.

Отдельные подростки перенимают не только слова, но и саму манеру говорить. Ведь воровской речи присущи и определенные фонетические особенности. Например: ей свойственно удлинение согласных звуков: *проддддери*, *коззззл*, *профффура* и т. п. А в некоторых случаях согласные звуки смягчаются, и гласные становятся более передними по месту образования, при этом нижняя челюсть выступает вперед, придавая лицу «зверское» выражение.

На вопросы, заданные учащимся школ, профтехучилищ, техникумов, почему они используют в речи арготические словечки, нами получены примерно одинаковые ответы: «они интереснее и смешнее других слов», «в них есть что-то удалое, дерзкое». А на вопрос, знают ли они, что производят нехорошие, некультурные слова, часть учащихся ответила утвердительно, другие же посчитали арготизмы вполне нормальными, обыкновенными словами.

Арготизмы встречаются в речи практически всех социальных групп и группировок молодежи. Общеполодежными являются слова *бабки* – «деньги», *базар* – «разговор», *газовать* – «употреблять спиртные напитки», *гасить* – «бить до потери сознания», *доход* – «глухой и слабый человек», *дурковать* – «бездельничать». В школьном и студенческом жаргоне имеются арготизмы *засыпаться*, *завалиться* – «не сдать экзамен или зачет», «получить неудовлетворительную оценку на занятиях» (в арго – «попасться правоохранительным органам при совершении преступления»). В жаргоне молодых музыкантов – *жмуриков* – «музыкант, играющий на похоронах», *жмуртрест* – «похоронное бюро» (в арго *жмурик* – «покой-

ник»), *карась* — «деньги, получаемые музыкантами за исполнение заказанной мелодии или песни (в арго *карась* — «богатый клиент», «жертва преступления»).

Большое количество арготизмов проникло в солдатский жаргон и жаргон моряков срочной службы.

Сейчас много пишут о «дедовщине», различных неуставных отношениях в армии и в военно-морском флоте. На срочную службу попадает и молодежь с уголовным прошлым. Именно эти молодые люди во многом способствовали распространению среди солдат и матросов воровских норм поведения, ритуалов, татуировок, тюремных песен и блатных словечек. В солдатском и морском жаргоне имеется множество арготизмов, например: *ловить дуба (дубаря)* — «мерзнуть», *курковка* — «тайник», *курковать* — «прятать», *горчок* — «туалет», *китча* — «гауптвахта» (в арго *китча* — «тюрьма»), *лек* — «солдат, отбывающий наказание на гауптвахте», *пайка* — «прием пищи», «кусочек хлеба с котлетой, мясом, маслом и сахаром для солдата, который по каким-либо причинам не ходил в столовую» (в арго — «дневная норма хлеба»).

Арготизмы используют и некоторые неформальные молодежные группировки. У них обычны *ксивы* — «документ», *ксивник (ксивняк)* — «мешочек, который хиппи носят на шее и в котором хранится паспорт» (в арго *ксива* — «документ», «письмо», «бумага, на которой можно что-либо написать»), *кинуть* — «украсть», «обмануть» и т. п.

Следует отметить, что в некоторых случаях жаргонные элементы неформальных молодежных группировок тесно смыкаются с арготическими. Имеется в виду та лексико-тематическая группа, которая обозначает наркотики, а также действия и признаки, связанные с ними. В арго, жаргонах панков и хиппи есть слова: *кумар* — «наркотическое голодание», *кумар, сено* — «маковая соломка, из которой готовят наркотики», *шляга* — «заменитель героина», *ширяться* — «вводить в организм посредством шприца наркотики».

Широким потоком разлились блатные словечки и в просторечии. Очень многие, не замечая того, часто включают в свою речь арготические по происхождению лексемы: *дешевка* — «мелочный, ненадежный человек», *мандражить* — «бояться», *накиряться* — «напиться вина» и др.

Сейчас неизвестно, какие слова попадут и закрепятся в русском литературном языке. Но уже настойчиво стучится туда слово *беспредел* в значении «высшее беззаконие» (в арго 40–50 г.г. *беспредел* — «группировка профессиональных преступников, не поддерживающаяся воровских обычаями, традиций и законов»; в 80–90-х г.г. — «рядовые преступники, заключенные»).

Как относиться к арготизмам, проникающим в нашу речь? Ответ любого культурного человека будет однозначен: отрицательно. «Перед этим стихийным языковым явлением, — писал еще в 20-х годах исследователь В. Малаховский, — не следует сидеть сложа руки и ждать, когда оно поглотит величайшие культурные ценности» (В. Малаховский. Изучение дет-

ского и юношеского словесного творчества как основа для построения методики речи // Русский язык в школе. 1927. Сб. 1). Но как бороться с тем, что не изучено?

Очевидно, изучение арго нужно начинать с составления словаря, в котором был бы зафиксирован основной костяк арготизмов начиная с первых фиксаций и кончая нашими днями. Затем описать и проанализировать его с лингвистической, социальной и психологической сторон. Важно установить причины перехода элементов арго в общенародный язык. Думается, что это позволит выработать ряд мер против захламления русской речи подобными сорняками.

Нам кажется вполне обоснованным ввести в вузовские учебники по русскому языку раздел «Социальные диалекты». Парадокс: студенты филологических факультетов подробно изучают территориальные диалекты и почти ничего не знают о социальных! Да и в школьных учебниках по русскому языку должен быть расширен раздел «Культура речи», в котором также говорилось бы о засорении нашей речи блатными словечками.

Процесс проникновения арготизмов в общенародный язык — стихийный процесс. Но в него нужно решительно вмешаться. Пока это третья волна. Не стоит ждать девятого вала.

Нижний Новгород

Страница современных терминов

Л. А. Морозова,

кандидат филологических наук

В наше сложное время стремительных преобразований благодаря средствам массовой информации политические, юридические и особенно экономические термины вырвались из сферы узкоспециального применения, став терминами повышенного общественного спроса. В широком использовании затруднения, как правило, вызывают заимствованные термины, облеченные в иноязычную оболочку: *импичмент* (привлечение к ответственности высших должностных лиц), *маркетинг* (система организации производственно-сбытовой деятельности) и многие другие. Некоторые из них были известны русскому языку в прошлом, а сейчас обновились, избавившись от прежней негативной окраски, вызванной идеологическими установками еще недавнего времени: *бизнес*, *фермерство*, *коммерция* и другие.

В наши дни более других актуализировались термины экономики и особенно развивающейся биржевой деятельности. Их можно сгруппировать по тематически связанным комплексам (семантическим полям): наименование лиц по профессии; ценные бумаги, валюта; товарные операции и процессы; учреждения и организации и другие.

В данной заметке мы предлагаем читателям расшифровку некоторых наименований лиц по профессиональной деятельности и занимаемым должностям, связанным с предпринимательством и складывающимися рыночными отношениями.

Базовым, с точки зрения семантики, для многих терминов приводимого ряда является понятие «предприниматель». Сам термин восходит к глаголу *предпринимать* – «осуществлять что-либо, делать». Наши словари сохранили идеологическую окраску неприемлемости предпринимательства для советской морали: *Предприниматель* – 1. Капиталист, владеющий предприятием. 2. Предпринимчивый человек, делец (С. И. Ожегов. Словарь русского языка. М., 1975. С. 533). а «делец» – «человек, который ловко ведет свои дела, не стесняясь в средствах для достижения своекорыстных целей» (там же, с. 146).

Сегодня именно с предпринимательством связаны надежды на оздоровление разрушенной экономики. Современные ученые и публицисты характеризуют предпринимательство как интеллектуальную деятельность инициативных, энергичных людей, а предпринимателей считают «золотым фондом нации».

Акцептáнт (лат. *acceptans* – принимающий) – лицо, принявшее на себя обязательство уплатить по предъявленному счету, векселю.

Аудитор (лат. auditor – слушатель) – ревизор, контролирующий финансовую деятельность компании.

Брокер (англ. broker) – лицо, наделенное официальными полномочиями для заключения биржевых сделок по поручению и за счет клиентов.

Дебитор (лат. debitor от debet – сбыт, расход) – лицо, имеющее задолженность предприятию, организации или учреждению.

Дилер (англ. dealer) – лицо, осуществляющее биржевые сделки от своего имени за свой счет.

Диспозит (лат. disponens – распределяющий) – 1. Уполномоченный по делам фирмы, компании, распорядитель, управляющий. 2. Физическое или юридическое лицо, располагающее свободными суммами на счетах у комиссионеров или у корреспондентов банка.

Коммиссионер (фр. commissionnaire лат. commissio – поручение) – посредник в сделках; физическое или юридическое лицо, совершающее за определенное вознаграждение сделки в пользу и за счет комитента, но от своего имени.

Комитент (лат. committens – поручающий) – лицо, дающее поручение другому лицу (коммиссионеру) заключить определенную сделку или ряд сделок от имени последнего, но за счет комитента.

Корреспондент (лат. correspondere – отвечать, осведомлять) – лицо или учреждение (фирма, банк), выполняющие финансовые, коммерческие поручения для другого лица или учреждения (за счет последних).

Маклер – см. брокер.

Менеджер (англ. manager < manage – управлять) – лицо, профессионально занимающееся организацией и управлением производства.

Принципал (лат. principalis – главный) – 1. Глава, хозяин. 2. Лицо, от имени которого действует агент, представитель.

Спонсор (англ. sponsor) – частное лицо, организация, фирма, финансирующая мероприятие безвозмездно или частично безвозмездно.

Франчайзи – мелкий предприниматель, открывающий свое дело под руководством крупной фирмы.

Язык прессы

Словарь одного события

Т. В. Шмелева,

кандидат филологических наук

«Тема августовского путча перестает быть модной, уходит с газетных и журнальных страниц» (Новое время. 1991. № 51). Это означает, что из рук журналистов она переходит в руки исследователей. В первую очередь, конечно же, историков. Но и лингвистов тоже, потому что она имела такой языковой резонанс, что не попытаться зафиксировать лингвистические наблюдения над столь неординарными фактами – просто грех.

Как же русский язык отзывался на августовские потрясения, говорилось и писалось о которых много и, как говаривают в Сибири, всяко-разно?

Первое, что надо отметить, – это поразившая всех аббревиатура ГКЧП, сразу же попавшая в «поле отторжения»: ее употребление сопровождалось выразительными паузами, иронической интонацией (Ге-Ке-Че-Пе. Радио-станция «Эхо Москвы». 1991. 20 авг.), оговоркой «так называемый», в письменных текстах иногда кавычками. А 30 августа в «Комсомольской правде» ее просто назвали дурацкой. Характерно, что один из российских депутатов, оговорившись, произнес «комитет по чрезвычайным происшествиям» (память аббревиатуры ЧП). Как бы подытожили эти «отторжения» журнал «Новое время», поместив у себя на страничке «Смех сквозь слезы» заголовок «Путч провалился, потому что никто не смог выговорить Ге-Ка-Че-Пе» (1991. № 36).

Со знаком негативного отношения новая аббревиатура тем не менее была у всех на устах и в этом смысле стала частотным словом недели, а может быть и месяца. Тут же появились и производные: наименование ее авторов и деятелей *ГКЧПисты* (с орфографическими вариантами *Ге-ка-че-писты* и *экачеписты*), прилагательное от него – *экачепистский*. Наряду с полным, так сказать, официальным названием членов нового госкомитета появилось и сокращенно-фамильярное *чеписты*, без труда напоминающее чекистов (может быть, поэтому побежали после победы над ГКЧП сносить памятник и главному чекисту, «отцу чрезвычайщины»?). А когда начались всесоюзные разбирательства и отбирательства от ГКЧП, журналисты придумали словечко *отчеписты* – для тех, кто старался отгородиться от комитета, «отчепиться» от него.

В обсуждении самого события (а где его только не обсуждали!) пошли и ход и устаревшие, как мы думали, слова – *заговор*, и те, что жили в языке «под знаком чуждости», для описания событий «там, у них» – *переворот*, *путч* (см. о слове *путч*: Русская речь. 1992. № 2). Именно последнее, как утверждалось в «Комсомольской правде» (1991. 4 окт.), первым произнес

Б. Н. Ельцин. Оно крепче других приросло к обсуждаемому событию. Мы наблюдали мгновенное «присвоение» слова русским языком. Оно вошло в активный всенародный словарный состав, и столь же стремительно появились его производные: *Прошел первый послепутчевый месяц* (Новое время. 1991. № 39); *После путчевых событий в СП СССР «Дню» было предложено сменить учредителя* (Комс. правда. 1991. 4 окт.); *Это знали даже самые твердые консерваторы из допутчевского Генерального штаба* (Лит. газета. 1991. 23 окт.); *Недоперестройка со всей неумолимой логикой увенчалась недопутчем* (Независимая газета. 1991. № 43); Производные обрели достаточно широкую сочетаемость, например: *Послепутчевая политическая драма* (Независимая газета. 1991. № 36), *в послепутчевом мире и послепутчевый Ельцин* (Независимая газета. 1991. 21 нояб.).

Если «по горячим следам» слово *путч* именовало единственное событие (и в этом смысле было как бы именем собственным), то чуть позже стало использоваться для обозначения и иных событий: *Разные настроения витали в холле Дома дружбы: от нервной суеты до обвинений российского руководства в бархатном путче* (Лит. газета. 1991. 25 дек); *Зместитель Волкова по комиссии (...) так прокомментировал этот «мини-путч»* (Московские новости. 1991. 1 дек.); *В семнадцатом году буквально все знали, что готовится большевистский путч* (Новое время. 1991. № 51).

Одно из следствий стремительного освоения русским языком слова *путч* — появление новых отношений в составе русской лексики. Выдвинувшись в пассивнейшую часть словаря, оно мобилизовало языковые ассоциации, заставило увидеть сближение с ним таких слов, которые в никаких «связях» с путчем замечены не были. Такое нарочитое сближение никак, казалось бы, не соприкасающихся слов мы видим, например, в заголовках «Комсомольской правды»: *Путч к коммунизму и О тех, кого немного ПУТЧИло* или на 16-й странице «Литературной газеты» появляются шутки: *чем бы вас еще поПУТЧевать и запретить исполнение песни «ПоПУТЧица»*. А в «Новом времени» слово *попутчик* — этот внезапный и невольный «родственник» *путча* — истолковывают как аналог слова *подельник*: *Гэкачеписты от КПСС и их поПУТЧики затаились*.

Таким образом, срочно сформировалось новое для языка объединение слов на основе звукового сходства: *путч* → *путь*, *пучить*, *потчевать*, *попутчик*... И это новое явление русского языка. И новые «искры» в осмыслении и языковой интерпретации события, «искры» явно комические.

Сближенным в смысловом отношении с путчем оказалось слово *август*: оно обрело событийное значение. *Август* вдруг стало в известном смысле синонимом слова *путч*: *август перевернул нормальный ход истории* (Комс. правда. 1991. 15 нояб.); *август нанес удар по консервативным силам; сильны тенденции забыть об августе; хотят забыть о крови трех героев августа* (Новое время. 1991. № 40, 50). Передано это событийное значение и производным слова *август*, что, в частности, позволило сформироваться целому блоку перифраз в наименовании путча: *августовские дни, события, маневры, августовская гроза* (Новое время. 1991. № 40, 49, 51).

Рассмотрев обозначения одного события, мы отмечаем, что язык отождествился на него с явной избыточностью. Создалось целое синонимическое гнездо, в которое вошли слова из «исторических запасников» (*заговор, переворот*), из «чужих» ресурсов (*путч*), и те, которые не подозревали до этого о своих «путчевых» связях (*август*).

Та же избыточность наименований наблюдается и при обозначении «дейтелей путча». Это синонимическое гнездо составляют исключительно производные слова: кроме уже названных *ГКЧПисты* и *путчисты*, в нем оказались *заговорщики, переворотчики, хунтари*, а также производные от имен собственных, что характерно для лиц, действующих на исторических подмостках: *пуголязовцы* (Комс. правда. 1991. 30 авг.) и *янайцы* (Лит. газета. 1991. 13 нояб.). И здесь можно говорить о перифрастике, имея в виду именование типа *организаторы августовских маневров* (Новое время. 1991. № 51) или *хунтовый восьминог* (Новое время. 1991. № 43).

Итак, среди многочисленных последствий путча, о которых говорили и еще будут говорить журналисты, политики, историки, мы обратили внимание на факты языковой жизни: в считанные дни возник *словарь одного события*. Здесь оказались слова, прожившие краткую устную жизнь, и запечатленные в текстах прессы, помнящие своих авторов и вдруг ставшие общепарадными. В нем отразились социальная активность, которую незапланированно вызвал путч, неистощимое, слова богу, языковое творчество русских людей, тип нашего политического мышления и смеховой культуры.

Красноярск

Наши консультации

Границы транспарентные или прозрачные?

Е. В. Карпинская

Недавно в Справочную службу русского языка обратились с просьбой разъяснить, что означает слово *транспарентный*. Словарь русского языка С. И. Ожегова (М., 1990) содержит только слово «*транспарант*. 1. Разлинованный лист, подкладываемый под целинованную бумагу для ровного письма. 2. Натянутая на раму ткань с изображениями, надписями». То же в Словаре иностранных слов (М., 1981): *транспарант* (фр. букв. *прозрачный*). Контекст, которым располагал наш абонент, помог объяснить незнакомое слово: «Украина объявила свои границы транспарентными». По всей вероятности, речь шла о свободных, «прозрачных» границах между республиками, что подтверждается и значением слова *transparent* в разных языках. Французско-русский словарь под ред. К. А. Ганшиной (М., 1979) дает два значения этого слова: «*transparent* – 1. прозрачный, просвечивающий; 2. Транспарант». Англо-русский словарь под ред. И. Р. Гальперина (М., 1979) отмечает четыре значения: «*transparent*: 1. прозрачный, просвечивающий; 2. явный, очевидный; 3. откровенный; 4. ясный, понятный».

Правильность нашего объяснения подтверждается многочисленными публикациями в прессе, зафиксировавшими новый термин. Приведем некоторые из них: «Это – отношения не соревнования и соперничества, а дополняемости. Они нуждаются в организационных связях, действующих на основе *транспарентности* и не умаляющих значения ни одного из европейских государств – членов НАТО» (Правда. 1991. 9 дек.); «Границы между государствами СНГ должны быть свободными, считает Борис Ельцин» (Известия. 1991. 23 дек.); «Корректировке подвергнуты многие статьи документа. Например, в 5-й статье подписанного в Минске соглашения читаем: стороны „гарантируют открытость границ, свободу передвижения граждан и передачи информации в рамках Содружества“» (Известия. 1991. 11 дек.); «По-разному истолковывали участники [пресс-конференции] такие значимые для Содружества понятия, как понятие о двойном гражданстве, о *прозрачности* границ» (Известия. 1991. 23 дек.).

Таким образом выстраивается целый ряд взаимозаменяемых терминов, характеризующих свободное, безвизовое передвижение между республиками: *транспарентность, открытость, прозрачность*. Образуются словообразовательные пары: *транспарентный – транспарентность, открытый – открытость, прозрачный – прозрачность*, что свидетельствует о жизнеспособности и закреплённости этих образований в языке.

Формирование значения слова путем буквального его перевода с иностранного языка называется калькированием, а само это слово – калькой. В нашем случае параллельно произошли и заимствование, и калькирование: *прозрачный → транспарентный*, в результате чего калька получает более широкое значение, а заимствование – более узкое, специальное. Такие параллели существуют в языке издавна, обогащая его и пополняя, главным образом, специальную лексику. Например: *объект – предмет, позитивный – положительный, натуральный – естественный*.

Остается вопрос, всегда больной и острый – о допустимости того или иного заимствования. В отношении словосочетания «транспарентность границ» можно предположить, что сфера его употребления – узкая, специальная, а место фиксации – специальные справочники и документы.



В поисках единства *

IV

Смоленские мотивы

О. Н. Трубачев,
действительный член РАН

Кратко оглядываясь на предыдущие свои «поиски единства» (язык древнего Новгорода на общерусском и общеславянском фоне, древность культурного наддиалекта, преемственность языка и культуры при эпохальной смене религий на Руси, общеславянский статус названия Киева, кровная привязка белорусского языка и этноса к общерусскому центру... ну, и, разумеется, многое другое, что всплывало, наряду с этими проблемами), я должен отметить главное – то, что тут нет какой-то предвзятой идеи единства, мне как исследователю подобная идея чужда и неинтересна. Существует положение, когда единство, являющееся исследователю из объективного знания и изучения, предстает перед ним в слабой позиции, ослабленной обстоятельствами или неуместным усердием людей, в том числе, к сожалению, – людей науки. Хочу напомнить о своем постоянном стремлении не упрощать, как бы это ни казалось заманчиво, обсуждаемые категории, в том числе категорию единства, а, наоборот, видеть ее во всей вскрывающейся сложности.

От людей непредвзятых я не ожидаю вопроса: а нужно ли из года в год – о единстве? Уверен, что нужно – нам сейчас, нужно – сегодня, в День памяти объединяющих нас Кирилла и Мефодия.

О процедуре исследования достаточно сказать, что, когда мы видим локальный славянский факт, нам важно максимально учитывать его во

* Начало см.: Русская речь. 1990. №№ 1, 2, 5, 6; 1991. №№ 3–5.

можный общий славянский фон, а для суждения об общеславянском явлении не менее важен его местный аспект.

Сложность племенного состава славян в разные эпохи носила, по видимому, неодинаковый характер. Наши знания об этом предмете (я имею в виду не только состав, но и внутренний смысл племенных названий славян) всегда относительны, поэтому прояснение этих вопросов неизменно актуально, оно открывает путь к древнему самосознанию и самопониманию славян, которое с достаточно раннего времени было единым, о чем свидетельствует факт наличия общего самопазвания — *славяне*, неоднократно привлекавшего наше внимание и своей этимологией, и живостью, народностью своего бытования в разных краях славянства. Интересно, что эта общность наименования (а с ней и определенное единство) вполне уживалась с также создаваемой и актуальной принадлежностью практически всех славян к тем или иным племенам, порой узколокального распространения. Тут мы воочию и осязаемо наблюдаем, как вышеназванное единство оборачивается сложностью, степень которой мы не во всех случаях способны себе правильно представить. Исследователь истории древнеболгарской культуры Д. Ангелов говорит о двойном этническом самосознании славян эпохи Кирилла и Мефодия, причем, например, болгарин IX—X веков ощущал себя в одно и то же время и славянином и болгаринем [1]. Но есть основания говорить о значительно большей сложности, если принять во внимание, что отдельные славянские народы и племена, в свою очередь, оказывались союзами племен, и все это надолго отложилось в языке, а тем самым и в сознании. Один такой пример давно привлекает мое внимание, потому что он знаменует эту, не всегда доступную глубину и многостепенную сложность древнего этнического самосознания, а также потому, что он, будучи довольно изолированным и остаточным, в частности, у южных славян, болгар, вместе с тем роднит их с восточными, русскими, славянами, где он также представлен реликтом (о других, еще более скудных следах скажем далее).

Приблизительно на юго-западе нынешней Болгарии письменные источники кирилло-мефодиевской эпохи упоминают племя *смоляне* или *смолене*. Относительно локализации этого племени велись споры (в низовьях реки Месты, впадающей в Эгейское море, или выше по этой реке, в районе города Разгол, или восточнее, в Родопях, где до настоящего времени существует город Смолян [2; 3; 4]), что в наших глазах не обладает такой важной решающей актуальностью. Будучи одним из болгаро-македонских племен, *смолене* не сразу вошли в болгарское царство, о походе болгарского кавхана Исбула в землю *смолен/смолян* (*lous Smoleanous*) говорит надпись второй четверти IX века, полтора столетия спустя после образования болгарского государства [3, с. 46–47]; даже в самом конце XII в. Никита Хонват упоминает особую область *смолен* — *tò théma ton Smolénou* [2, с. 307]. Важно, что племя *смолен*, несомненно, создавало свою особость таким именно образом это проявлялось, мы попытаемся показать на

разборе имени дальше), во всяком случае в течение какого-то времени даже после вхождения смолен в болгарское царство имеются основания говорить о тройственном этническом самосознании: смолене – болгары – славяне.

Важно также, что славянская природа племенного имени смолене (болг. *смоленѣ*) никогда ни у кого не вызывала сомнений, и, стремясь его объяснить, обычно с полным правом апеллировали к его единству с именем русских смолян, смольнян. То, как это делалось, представляет для нас интерес. Можно сказать одно: несомненная славянскость имени придавала вопросу кажущуюся простоту, простота эта, естественно, подкупала людей, и результатом явились те толкования, с которыми мы имеем дело в литературе. На первый взгляд, трудно возразить что-либо против этих этимологических опытов, разве что отметив про себя их прямолинейность. Я имею в виду этимологии названия болгарских смолен (а заодно с ними и русских смолян) «от смолистых лесов», то есть в конечном счете – от названия смолы или – от того же слова *смола*, но с последующим переходом в название по преимущественному занятию, промыслу: не просто «жители смолистых лесов», а уже «смолокуры, смолокиды» (по-болгарски теперь еще – *катранджия*, мн. ч. *катранджии*) [3, с. 45; 5, с. 36]. Или – не менее просто и вроде правильно в целом – от местного названия *Смола* [6, с. 170].

Конечно, исследователи задавались и раньше вопросом, – принесли ли славяне с собой в эти новые для них места обитания уже готовое название *smolēne, *smol'ane или оно оформилось непосредственно тут. Материал оказался скорее разноречивым на этот счет. Стоит обратить внимание на такую довольно яркую черту болгарских смолен и их рассматриваемого этнонима, как порубежность. Именно она породила стойкие иноязычные дублиеты этого имени, от которых вряд ли можно отмахнуться как от таковых и которые помогают, как увидим далее, лучше разобраться в судьбе далеких от Болгарии русских форм. Речь идет о тюркских (турецких) по своей природе дублиетах имени болгарских смолен, давно констатируемых в названиях населенных мест: *Исмилан* с вариантом *Смилан*, при известном нынешнем названии этого города (в прошлом – селения) *Смолян*, на что обратил внимание еще Иречек (см., впрочем, с критикой, [3, с. 51, 53], ср. и [7]).

Другая черта имени болгарских смолян, роднящая их с близкими славянскими названиями племен, – это повторяемость, которая, согласно наблюдениям ученых, вообще свойственна этнонимии славян. Если иметь в виду только интересующий нас этноним, то сюда же относятся западнославянские *Smeldingon* на правобережье нижней Эльбы, фиксируемые там неким анонимным баварским географом в кратком документе второй половины IX века «Описание городов по северному берегу Дуная» [8, с. 2–3], чье наверняка сильно искаженное имя (*Smeldingon*) в научной литературе передают (не без натяжки) как *Smolinci*, прямо связывая с упоминавшимися болгаро-македонскими смоленами [9, приложение:

карты: 10, с. 114; 11, с. 251]. Эта повторяемость племенного названия, скорее всего, неслучайна, она может отражать тождество соответствующих этносов и их перемещение, но может быть также отражением сходных внешних условий, в которые попадает этнос.

У восточных славян, на Руси, к которой мы теперь переходим, имеют место лишь отголоски этого славянского племенного имени смолян, которым я в свое время уже занимался и даже задумывался тогда над вопросом, нельзя ли видеть в южнославянских смоленах русских славян, вовлеченных, так сказать, в балканскую миграцию славян [12, с. 62, 63, 114], на чем я сейчас не стал бы настаивать. Реальна прежде всего связь имени древнего русского города *Смоленск* и имени *смоляне/смолене* на балканской реке Месте (ср. и [13, с. 237], где с опечаткой: «Мсте»). Надо сказать, что в топонимии славянских территорий, в разных названиях мест, есть и другие, даже более непосредственные продолжения рассматриваемого нами племенного названия. Это и местное название *Smoliana* в Греции, которое Фасмер истолковал как отпечаток древнего славянского «*Smoljane*, «название жителей, ведущее свое начало от славянского *smola* «древесная смола, деготь»» ([14, с. 75] ср. там же, на с. 215, название греческой деревни *Deurina*, XIII в., возможно, от имени жителей *Dьbrjane*). На соседних нам, белорусских, землях можно указать названия сел *Смоляны*, *Смоляны* [15, с. 353].

Собственно говоря, слово *смолянин* (мн. *смоляне*) вполне живо в русской речи и сейчас, но обозначает оно исключительно жителей города Смоленска. При этом нельзя утверждать, что значение племенной принадлежности было забыто только в поздние века. И в древнерусской письменности значением этого слова было «смолянин, житель Смоленска», ср. новгородскую берестяную грамоту № 343, начала XIV в. «Петре Сомолянине, то есть «Петр смолянин» [16, с. 30–32]; *смоляннине*, *смоляне*, смоленская грамота 1229 года [17, с. 127].

Похоже, что русская летописная традиция уже не застала смолян как особое племя; это следует из красноречивого сочетания летописного сообщения о племени кривичей, «город которых – Смоленск» (ихъ же градъ есть Смоленскъ). И хотя высказывалось мнение, что часть кривичей впоследствии была переименована в смолян по вновь возникшему Смоленскому княжеству [3, с. 45], гораздо более вероятно обратное, – что смоляне постепенно растворились и целиком вошли в состав могущественных кривичей. Подобное явление – почти бесследное исчезновение отдельных племен в более крупных племенных союзах Древней Руси – вещь вполне реальная. Исследователь восточнославянских племен ранних веков В. В. Седов специально ссылается, например, на попытку Ф. П. Филиппа установить в районе Владимира и Суздаля не словенское, а кривичское племя, а «самостоятельное восточнославянское племя, название которого не дошло до нас» [18, с. 185].

Наша историческая наука целиком переняла концепцию нашей начальной летописи – концепцию, судя по всему, вторичную, что *Смоленск*

был центром кривичей [19, с. 12] Иногда, впрочем, говорят, как бы компромиссно, о «смоленских кривичах» (ср., например, вскользь в фундаментальной книге В. В. Седова [18, с. 158], где племя смолян не упоминается совсем). Вот почему нам особенно хочется отметить те актуально звучащие и сейчас положения, которые еще в конце прошлого века развивал смоленский историк С. П. Писарев [20, с. 3, 6], о том, что особое славянское племя смолян поселилось на холмистом берегу Днепра, дав имя городу; проявление самостоятельности этих древних смолян историк видел в том, что они «не участвовали в призвании варягов, как напр. кривичи, в состав которых они потом вошли». Время великолепно проверило и подтвердило справедливость этого взгляда, который мы принимаем целиком. Отрадно отметить, что правильное объяснение мы находим также в книге современного смоленского топонимиста Б. А. Махотина: Смоленск – «город смолян» [21, с. 10]. Верно видел суть проблемы и В. А. Никонов, который однозначно указал на первичность тут «наименования жителей» (то есть племени): *смоляне*+суффикс *ск* [22, с. 387]. К сожалению, в крупнейшем этимологическом словаре Фасмера представлено без комментариев (и это уже, наверно, моя лично вина) совсем другое «ходячее» толкование, под словом *смола*: «Отсюда произведен др.-русс. гидроним *Смольня*, откуда название города *Смоленск*, др.-русс. *Смольньскъ*... Согласно Погодину... назван так потому, что там смолили суда» [23].

Совершенно очевидно, что имя города, в первые упомянутого под 863 годом, принадлежит памятнику более глубокой древности. Здесь вступает в силу правило обязательности общеславянского фона и контекста, намеченное выше, когда мы говорили о близких болгарских фактах. Собственно, сходство судьбы болгарских данных простирается и дальше, и его стоит держать как бы перед глазами, рассматривая различные отражения уже чисто русских форм. Из этих письменных отражений наибольший интерес представляет то, которое находим в почтенном источнике середины X века – сочинении византийского императора Константина Багрянородного «О том, как надо управлять империей». Известно, что там Смоленск упоминается в весьма необычной форме *Milíniska*, которая давно привлекает внимание как историков Руси, так и историков русского языка. Но кажется, что ни те, ни другие не справились с ее объяснением, и причина тому – недостаточный учет языкового контекста эпохи.

Придется несколько подробнее остановиться на том, как эту форму названия города Смоленска (Const. Porph. De adm. imp. 13^o p: ...eisi de kai apò tò kástron tèn Milíniskan... «из крепости Милински» [24, с. 44, 45]) интерпретируют наши новейшие издатели: «В транслитерации названия у Константина первая йота, очевидно, возникла под влиянием последующих двух йот. Опускание начальной сигмы объясняется двояко. Н. Н. Дурново предполагал, что первоначально слово стояло в род. п.: apò tēs Smilíniskas, где две смежные сигмы слились в одну (Дурново Н. Н. Введение. С. 224, примеч. 4). Р. Якобсон предложил возводить

словосочетание *apō ten Moliniskan* к древнерусскому *и-Смольньска*, которое могло быть реинтерпретировано составителем как «из Мольньска», откуда им. п. — *Moliniska*» [24, с. 312]. Сразу видно, что все эти интерпретации, опирающиеся, к тому же, на неподтвержденные формы, исходят из мысленных условий труда переписчиков и связанных с ним описок пера, совершенно обходя молчанием условия, так сказать, «полевые». Если же реально представить себе эти полевые условия сбора информации, то совершенно естественно при этом вспомнить и основного субъекта тогдашнего Поля (странно, что об этом в данной связи не задумались раньше!) — печенегов, этих папинакитов Багрянородного, так часто им упоминаемых и, как известно, важных информаторов и агентов Византии в русских делах. Тогда в форме *Miliniska* логично видеть первоначально печенежскую (тюркскую) передачу **ismiliniska*, отражающую древнерусское *Смольньскъ*, род. п. *Смольньска* с совершенно закономерными проведением тюркской гармонии гласных и ликвидацией начальной группы согласных, нетерпимой на тюркской языковой почве (вспомним, как славянское **smolēne* подверглось совершенно аналогичной тюркизации в Исмилан на другом, болгарском, краю славянского ареала). Тюркизированное в печенежских устах **ismiliniska* было столь же закономерно воспринято византийцами на слух как привычное для них сочетание с предлогом «в» *eis Miliniskan* с последующим ложным отделением начального *is-*, осмысленного как предлог (частотность сочетаний с предлогом *eis* «в» была всегда высока в греческой речи, вспомним, как именно оборот *eis ten Pōlin* «в Город», о Константинополе, послужил прообразом его турецкого названия *Istanbul*). Женский род у *Miliniska* «Смоленск» навеян тем, что греческое *pōlis* «город» — слово женского рода.

После этого необходимого «тюркского» экскурса вернемся к славяно-русской проблематике, где нас ждет целый ряд вопросов. Хотя в славистической литературе принято оперировать «правильным» древнерусским написанием *Смольньскъ*, в текстах встречается ряд случаев *Смоленьскъ*, *Смолѣньскъ*, *Смолиньскъ* с гласным полного образования, вместо первого *ь*, достаточно об этом справиться в смоленских грамотах. Второе, что привлекает внимание в этой связи, это постоянство известного ударения *Смоленск*. Допустимо предполагать, что в случае образования от названия речки *Смольня* (см. выше Фасмер) мы имели бы другое ударение, скорее **Смѣленск*. Потому и с этой точки зрения естественнее видеть в *Смоленск* производное от *смолене/смоляне*, ср. аналогию *Смолѣн-ск* и **Дѣбрян-ьскъ* (современное *Брянск*), распространяющуюся как на постоянство места ударения, так и на происхождение от племенных названий (ведь и **Дѣбрян-ьскъ* образовано не прямо от *дѣбрь*, как это обычно представляют, а от несохранившегося также имени неких *дѣбрян*, которые, кстати, тоже имеют соответствия на славянском Юге, в том числе у болгар, в славянском местном названии в Греции *Deuriana* < *Dьbrjane*, уже упоминавшемся выше, и в болгарском топониме *Дебрене*, того же происхождения [6, с. 124]).

Но есть и другие факты, которые, на первый взгляд, представляют некий курьез, на самом же деле подтверждают все ту же главную производность от этнонима. Так, наряду со *Смоленськѣ*, *Смольньскѣ* с раннего времени встречается вариант *Смольскѣ*, въ *Смольсѣѣ*, въ *Смольскѣ* в смоленских грамотах XIII века и некоторых древних летописных свидетельствах. Впервые обратил серьезное внимание на это обстоятельство шведский славист Г. Якобссон [25, с. 148 и сл.]. Оба варианта названия древнерусского города как бы соперничают друг с другом, о них знает тогдашняя Западная Европа: в скандинавской саге о Тидреке 1200 года (иначе – Дитрихе Берпском, или Теодорихе Веронском) им соответствуют тоже вариантные *Smalenskia* и *Smälizku* [25, с. 152; 26, с. 509]. Вывод шведского ученого: форма *Смольскѣ* – старшая из двух. Опустим здесь детали его аргументации, в которых мы прямо расходимся с ним (Г. Якобссон считает, что *Смольскѣ* образовано непосредственно от корня *смол-*), и бросим как бы взгляд окрест. Оказывается, что адъективная форма *smolŕsk-* достаточно широко и с раннего времени представлена в славянской топонимии. Сюда относятся *Simolŕskia* на крайнем юго-западе греческого Пелопоннеса, а равно тождественные ему *Смолско* в Болгарии, *Smolsko*, *Smolsk*, *Smólsko* в Польше [27], *Smoltsik* в Северной Германии XIV века [28, с. 98].

Остается существенный и в какой-то мере теоретический вопрос: како во отношение форм **smolēne/*smol'ane* и **smolŕskŕ* между собой? Вопрос этот прояснится, скорее всего, лишь в дальнейшем, после того как мы составим себе более полное представление о генезисе племенного названия *смолян*. Но уже сейчас можно обратить внимание на некоторую регулярность отношений, а вместе с ней – на направление словообразовательной деривации: **smolŕskŕ* ← **smol'ane*, ср. **polŕskŕ* ← **pol'ane*, далее **lŕŕskŕ* ← **lŕŕane*. Это отнюдь не банальные констатации, если вспомнить, что в литературе (и, наверное, в сегодняшнем бытовом сознании) представлено как раз противоположное мнение, что, например, древнерусское *лучане* – это производное от названия города *Лучьскѣ* «Луцк» (укр. *Луцьк*) [29, с. 53]. Однако сравнении с положением в древней Чехии (где существовало племя *Liŕanŕ* при полном отсутствии соответствующего урбонима **Luck!*) достаточно для правильного понимания того, что в древней паре **smol'ane* – **smolŕskŕ* мы имеем дело с усечением (*truncation*) производящей основы **smol'ane*, а не с образованием от названия древесной смолы.

Вообще корневая группа *smol-* скрывает в себе не одну загадку. Правильное раскрытие этих загадок представляет самостоятельный интерес, порой – с выходом в историю культуры, не говоря уже о том, что сокращает также наш путь к решению смоленской темы. Одна из этих загадок – имя Климента Смолятича. Историки литературы, признавая, что «наши сведения о Клименте весьма ограничены», вместе с тем, довольно уверенно заявляют, что «он был родом из Смоленска» [30], иногда делая при этом оговорку, что основанием для таких суждений служит его

прозвище *Смолятич* [31]. Между тем эти выводы лишены научных оснований. Для любого ономаста и вообще лингвиста очевидно, что *Смолятич* не «прозвище», а регулярно образованный патроним, отчество с суффиксом *-ичь* от личного имени **Смолята*, которое, правда, в древнерусском антропонимиконе пока не обнаружено, что, однако, дела не меняет. Достоверно известно, что этот Климент Смолятич был монастырским схимником в Зарубе, что к югу от Киева, на Днепре, затем был призван в Киев митрополитом и состоял одно время в переписке со смоленским князем Ростиславом. Последнего обстоятельства, ясно, тоже совершенно недостаточно, чтобы утверждать, что и сам Климент Смолятич «был родом из Смоленской земли». Перед нами лишний пример того, как фрагментарны еще наши знания древней антропонимии славян, имен людей. Восполнить лакуну в наших сведениях по древнерусским личным собственным именам, при всем богатстве русской письменности, удастся лишь косвенным путем, через привлечение территориально отдаленных славянских данных. Реальность древнерусского имени **Смолята*, восстановленного нами на первых порах условно, а также его праславянской формы **smoleŭta* неожиданно полностью подтверждается славянскими свидетельствами с давно онемеченного Севера Германии, где с начала XIV века фигурирует местное название *Smollentyn*, *Smolentin* (современное *Schmellenthin*). Кстати, давно хорошо объясненное «из древнего **Smoleŭtin* от имени **Smoleŭta*, ср. древнерусское отчество *Смолятич*» [32].

Думаю, и для историков русской литературы представит определенный интерес состоявшееся выше попутное упразднение маленького мифа о смоленском происхождении Климента Смолятича. Несколько слов о личном имени **Смолята* и других именах на *-ята*.

Личных имен, производных с этим суффиксом, довольно много в древнерусской письменности с самого раннего времени, насколько можно судить по соответствующим материалам, собранным специалистами [33; 34; 35; 36; 37]: *Жидята*, *Вышата*, *Путята*, *Славята*, *Жирята*, *Воята*, *Горята*, *Нѣжата*, *Твердята*, *Острыата*, *Милята*, *Радята*, *Тѣшата*, *Шумята*, *Кобята*, *Поцата*, *Седята*, *Гостята*, *Мѣстята*, *Скордята*, *Братята*, *Станята*, *Бѣрзята*, *Былята*, *Мизята*. Дополнительные сведения о наличии таких имен дают производные от них отчества типа *Голятин* и местные названия: *Видятино*, *Добрятино* [33, с. 63]. Оказывается возможным также реконструировать часть таких вышедших уже из употребления личных имен на основе известных регулярных производных вроде *Пириатинь*. Переяславская земля, XII в. [36, с. 628], ср. еще укр. *Ділятин*, топоним, образованный от иначе не засвидетельствованного личного имени **Ділята* [37]. В науке твердо установлено, что эти имена на *-ята* (праславянское *-ęta*) представляют собой фамильярные, уменьшительные суффиксальные производные, одноосновные сокращения (свертывания) более высоких по своему статусу двусловных личных собственных имен типа *Вышеслав*, *Жидислав*, *Жирислав*, *Твердислав*, *Путимир*, *Путеслав* и др. Как и эти полные имена, их сокращенные формы на *-ята* принадлежат целиком еще

дохристианской архаике, хотя популярность и продуктивность имен на -ята сохранялась длительное время, уже на глазах первых веков древнерусской письменной истории, в условиях христианской культуры, чем можно объяснить появление также некоторого количества как бы «гибридных» имен на -ята, образованных от крестных имен, например *Юрята* (*Гюрята*), *Климята* в документах Великого Новгорода [38].

Как было сказано выше, имени **Смолята* в древнерусской письменности обнаружить не удалось. Это не мешает, однако, видеть нам достаточно четко потенциальный механизм его регулярного, по всем признакам, словопроизводства: **Смолята* явилось свертыванием предшествующего двусловного личного имени подобно тому, как это нам известно во всех других случаях. Трудность в том, что как раз сложные личные имена, включающие корень *смор-*, в славянском антропонимиконе нам до сих пор неизвестны (ср. об этом, со ссылкой также на собрание Миклошича, [39]). Засвидетельствованы только краткие личные имена *Смола*, *Смолка*. *Смоля* [40, с. 293]. Тем не менее, здесь возможно только одно направление деривации: **Смолята* — от сложного личного имени типа **Смолидуб* или **Смолибор*, которые до нас в письменных источниках не дошли, но могут быть как бы «вычислены» условно и объяснены, в свою очередь, как сложения с основой глагола *смолити*.

Изначальное значение слова *смола* — «продукт (медленного) пережигания древесины» (остальные известные значения — «древесный сок» и т. п. — этимологически вторичны и нас здесь не интересуют). Соответствующего глагола наш язык, в сущности, не сохранил, ибо наше *смолить* обладает явно вторичной семантикой, производной от слова и значения *смола*: «мазать, покрывать смолой». Древнее глагольное значение «обжигать (снаружи), палить» лучше сохранилось, например, в украинском, у глагола с несколько преобразованной формой *смаліти*, удержавшего зато именно древнее значение [41; 42]. Главный ареал глагола *smaliti* — западнославянские языки (польский, серболужицкие) [43, с. 503], верно замечено, что **smaliti* не может быть производным от упомянутого общеславянского названия смолы [44, с. 563]. Гораздо уместнее объяснять глагол *smaliti* как производное от слова, сохранившегося в нижнелужицком языке: *smala* «выжженное место в лесу» (см. о нем [46]). Если правильно охарактеризовать в последнем слове корневое -а- как вторичное продление в производной форме с корневым -о-, мы логично придем к исходному глагольному корню *smol-*, который с индоевропейской древности (**smel-*, **suel-*) был носителем значения «слабо гореть, тлеть; медленно, постепенно жечь» (В нашем употребительном глаголе *палить* преобладало первоначально более интенсивное значение, ср. из того же гнезда — *подымя*, *пламя* как обозначение яркого, пылающего огня). Идея подпаливания, медленного, постепенного выжигания, а не одноразового сжигания целиком, оставалась изначально и определяющей и для семантики славянского глагольного корня *smol-*. То, что описанная семантика оказалась стойко применена именно к постепенному вы-

жиганию леса (н.-луж. *smala* «выжженное место в лесу»), указывает на большую актуальность связи этого древнего лексического гнезда не с добыванием смолы, а с культурной стадией, называемой в науке подсечно-огневым земледелием.

Теперь путь к пониманию древнего славянского группового обозначения людей **smol'ane*, **smol'ene* как будто расчищен. В своей большой массе славянские производные с формантом *-'ane*, *-'ene* образуются, как известно, от названий мест. Продуктивность подобных образований жива и поныне, достаточно указать на такой авторский, окказиональный неологизм, как *областяне* «жители области, областей, областные жители» (Солженицын А. И. Как нам обустроить Россию). По этот оттопонимический способ образования имен на *-'ane*, *-'ene* отнюдь не единственный, о чем я уже писал неоднократно. Другой достаточно древний вид этих имен — производные от названий характерных глагольных действий. Их немного, но от этого они не менее реальны. Очевидна также социальная весомость некоторых из них. Ср. прежде всего самоназвание **slov'ene*, *славяне*, собственно «слювающие, словущие, то есть известные, свои» — от глагола *слуги, слову*, далее — древнерусское *кличане* «загоняющие зверя кликом на охоте» — от *кликати, кличу*. Думаю, в этот же словообразовательный ряд выстраивается славянское **smol'ene*, **smol'ane*, и значило это слово первоначально «выжигающие лес» — от древней формы и значения глагольного коня **smol-*, **smoliti*.

Таким образом, *смол'яне*, **smol'ene* оказывается как бы косвенно-лесным этнонимом, в нем содержится намек на свое отношение к лесу. Как это ни странно, у славян мало настоящих «лесных» племенных названий (*древане* — на полабском Западе, *древляне* — на Руси, вот и все...), и это — при общеизвестной, нарочитой связи славян и леса. С другой стороны, тут нет ничего удивительного: наличие лесов как почти повсеместной естественной среды обитания делало именно атрибут «лесной» немаркированным, банальным. При внимательном взгляде на карту размещения славянских племен времен экспансии славянства мы видим любопытную особенность — уже отмеченную нами выше порубежность, окраинность славян по имени **smol'ene*, **smol'ane* — у самой Эгеиды на Юге, почти в низовьях Эльбы на Северо-Западе и в самых верховьях Днепра у нас. В каком-то смысле это были тогда, во второй половине I тысячелетия Рождества Христова, пограничные вехи славянства. Правда, понятия «граница, пограничный» — очень поздние категории межэтнических отношений. На раннеплеменной стадии настоящих границ не знали, соблюдали самобитность и самодостаточность племени, обходясь без границ в нашем понимании. Так было у разных народов. Например, у немцев сначала имелось, пожалуй, только обозначение и понятие окраинной, пограничной области — *Mark*, специальное же название границы *Grenze* они заимствовали на Востоке у славян. Но и славянское слово **granica* развило свое ныне преобладающее значение не сразу, первоначально слово значило «ветка», «куча веток, пучок веток».

Но в имени смолян выражено не только отношение к лесу. В нем запечатлена, как я все же думаю, также обязательная связь с земледелием, ибо *smolène — это, иными словами, славяне, отвоевывающие пашню у леса. Как правильно, видимо, считается, именно подсечно-огневое земледелие, сопряженное с вынужденной сменой посевных площадей (экстенсивное земледелие), именно это добывание хлеба насущного, а не какая-то выдуманная агрессивность, было наиболее могущественным фактором, гнавшим славян в далекие миграции, побуждавшим их к территориальной экспансии. Все остальное (военная реализация этих тенденций) как бы прилагалось. Для нас представляет поэтому интерес исторические сведения о связи с земледелием тех славян, которым, так сказать, в тот момент было как будто не до него. Я имею в виду славянские племена, в их числе — смолене, трудно осаждавшие и так и не взявшие греческий город Солунь (Фессалоники). Земледелие этих македонских славян VII века специально отмечается письменным памятником эпохи «Чудеса св. Димитрия» [46, с. 85]. Опираясь в немалой степени на данные своего языкознания (ср. то, что сказано о генезисе термина *смоляне*), мы находим подтверждение выводам тех историков, которые и в округе нашего Смоленска констатируют наличие района древнего земледелия, непременно сопутствующего городским скоплениям [19, с. 12], и, наоборот, с меньшим доверием относимся к исследователям, утверждающим, что в районе Гнёздова-Смоленска нет признаков земледелия в древности [47, с. 210].

Порубежные, как сказано было выше, смоляне предстают перед нами неким авангардом славянского расселения. Как у других славян, эпицентр этого расселения остается где-то в глубоком тылу. Более «центральных» смолян не сохранилось, впрочем, как мы теперь понимаем, этого и не следовало ожидать. Говоря об исходном центре славянских миграций, я все последние годы подразумеваю Среднее Подунавье, полагая, что именно в этом случае интересующие нас пути славян получают не только новое, но и непротиворечивое объяснение. Как известно, племенная номенклатура славянства из этих земель до нас почти не дошла (исключение — *славяне дунайские*, упоминаемые в Повести временных лет). Тем более интересен будет для нас редкий случай, в котором славянское племенное название представлено и на периферии славянского ареала, как в нашем примере со смолянами, и равным образом — на Среднем Дунае. Это *северяне*. Говоря о северянах, обычно имеют в виду два различных племени — Sebēreïs, *северяне* или *севери* в Добрудже, между Дунаем и Балканами, то есть в землях южных славян [2, с. 26], и *северяне*, *сѣверяне*, *сѣверь*, называемые в X веке у Константина Багрянородного Seberioi (перечисляет после дреговичей, дреговичей и кривичей, см [24, с. 55: род. п. мн. Seberion, 18° P]), восточнославянское племя. И теперь редко кто вспоминает особых, третьих северян, которых, строго говоря, нельзя отнести ни к южным, ни к восточным славянам, хотя попытки последнего рода изредка предпринимаются по стопам Ниперле

Имеется в виду название, несколько деформированное в немецких устах оставшегося безымянным баварского географа IX века, который в своем описании придунайских городов пишет: «Zeriuani, quod tantum est regnum. ut ex eo cunctae gentes Sclavorum exortae sint» (серивани [северяне] – это такое королевство, из которого будто бы вышли все племена славян» [8, с. 2–3]). Комментаторы, современные нам, упоминают это Zeriuani IX века как правило единственно для того, чтобы отождествить его (и еще одну близкую, но спорную форму отсюда же – Zuirgani) с известными древнерусскими северянами на левобережье Днепра [8, с. 39–40]. Немецкий археолог И. Херрман локализует при этом, правда, Zuirgani/Zeriuani к югу от Припяти, на днепровском правобережье, идентифицируя их, тем не менее, как северян [48, с. 162, 166]. Но карта и комментарии этого ученого создают стойкое впечатление, что он полностью отрывает всю ономастику Баварского географа от Дуная, забывая о том, что анонимный автор оставил нам «Descriptio civitatum ad septentrionem alemp l a g a m D a n u b i i» – Описание городов по северному берегу Дуная.

Кроме того, нельзя не видеть, что это анонимное «Descriptio» IX века передает стойкую средневековую традицию о выходе славян, перекликающуюся, по всей видимости, с равнозначными традициями старочешской и старопольской литературы и летоисчисления, а также нашего Нестора, и что при этом взоры старых авторов и летописцев устремлены в одну сторону – на Дунай. Ничего подобного с припятско-днепровскими землями старая традиция не связывает, что также существенно, на наш взгляд. Тогда как дальнейшие наши поиски именно на Дунае отнюдь не бесплодны. Ученые предшествующих поколений указывали в связи с этим свидетельством упоминавшегося «Descriptio» на территорию на Дунае, на границе Венгрии, Сербии и Болгарии, под названием terra Zeurini, ассоциируя именно ее, в духе «Descriptio» (см. выше), с исходным центром славян [8, с. 38]. Сюда же относятся продолжения этой ономастики в виде современных венгерских Szörény, Szörénység, название восточной, герцогской части Баната, и румынское Turnu-Severin, название города у Железных ворот, отделяющих Средний Дунай от Нижнего Дуная (ср. [49]). Контекст всех этих, казалось бы, разрозненных, свидетельств чрезвычайно важен для нас. Он говорит, в частности, о том, что были еще какие-то северяне, как бы в центре между южнославянскими и восточнославянскими (древнерусскими) северянами. Название этих дунайских северян уже имело полную славянскую форму *sěvergane, которая, таким образом, не может быть охарактеризована как «явно поздний вариант более распространенного... бессуффиксного... этнонима север (сѣверъ)», как см. о русских северянах в [50]. Этот контекст, далее, становится особенно красноречив, если мы вспомним об очевидной этимологической связи славянских *sěvergane и *sěvergъ «север, страна света». Судя по средневековому описанию, *sěvergane на Дунае были левобережными и дунайскими жителями, левый же берег Дуная в тогдашних представлениях был север

ным берегом, что верно и географически, вспомним «septentrionalem plagam Danubii». Полезно также иметь в виду распространенность восприятия севера как левой стороны (и соответственно – юга как правой), причем северный/левый могут как бы сливаться, нейтрализоваться. Такое восприятие могло особенно актуализироваться при длительных миграциях с запада на восток (индоарийские примеры «правого» как «южного», полагаю, известны). Движение на восток из упомянутого нами дунайского центра также, конечно, имело место, в частности, в случае с северянами. В целом же проблема «правого» – «левого» этим не исчерпывается, обретая дополнительную сложность хотя бы в гидронимии (так, оказывается, между прочим, что «левые» и «правые» притоки рек могут быть как бы зеркально противоположными в научной и в народной гидрографии, примеры обозначения левых притоков как «правых» известны в славянской, в частности – южнославянской гидронимии, в последней вообще, как и в языке, категория «левого» представлена чаще, см. подробнее [51]; может, в конечном счете, решать также позиция говорящего – лицом к истоку, лицом к устью, но на всех этих специфических и трудных вопросах – взять хотя бы природу названия реки Десны: «правая» о левом притоке Днепра? – мы здесь просто не в состоянии останавливаться).

Предыдущий экскурс в проблематику среднедунайского центра славян потребовался нам главным образом потому, что иначе трудно понять передвижения южных славян и не только южных. Исследователи балканской топонимии и гидронимии немало поработали над реконструкцией путей славянского освоения (и среди них особенно – покойный болгарский профессор Йордан Заимов). Итог этих разысканий оказался довольно любопытен, а именно: областью с наибольшей густотой первоначального славянского заселения оказалась современная Македония; во Фракию и Родопы славяне прибывали не с восточных Балкан, а с македонского юго-запада. Эта констатация уже прямо затрагивает интересующую нас здесь тему, ибо этим путем пришли южнославянские селене. Констатируется при этом, что в Македонию славяне пришли с севера, это был их главный и, похоже, единственный путь, который Заимов называет «пролом на заселеното». Видимо, с этим, в свою очередь, связана первоначальная слабая заселенность именно Восточной Болгарии. Славяне и туда пришли, по-видимому, с Запада. Предполагаемый «второй прорыв», или поток славян через Нижний Дунай в Болгарию с севера не очень реален, во всяком случае, по мнению Заимова, топонимические данные об этом отсутствуют [6, с. 100 и сл.; 52, с. 63, 186; 53; 54; 5, с. 33 и сл., 36]. Верно, что болгарский (тюркский) хан Аспарух в 679 году перешел Нижний Дунай с севера на юг и подчинил себе славянские племена, встреченные им в Северо-Восточной Болгарии, в их числе северяне. Но северяне эти пришли сюда, скорее всего, тоже из Македонии, куда они спустились в славянском потоке с севера, со Среднего Дуная. Так устанавливается связь северян болгарских и северян Среднего По-дунавья, а сами эти болгарские северяне (и с ними «семь племен»,

оставшихся безымянными) прошли лишь несколько дальше по пути, по которому шли также болгарские смолене. Ясно, что древнерусские смоляне, как и древнерусские северяне, и все восточные славяне, проделали намного больший путь и зашли особенно далеко от своих исходных центров, по — связи остались, и нам надлежит восстанавливать пути, которыми шли и расходились, все же оставаясь самими собой. Тем более, что и в этом вопросе нашей этнической истории, как, похоже, во многом другом, немало зависит от повизны взгляда.

Они все же остались самими собой — болгарские смолене на Юге, на которых, как и на всех болгар, стал давить тюркский этнический пресс, русские смоляне на далеком Северо-Востоке, проникшие в среду балтов, населявших Верхнее Поднепровье, примерно в то же время, когда южные славяне заливали Балканы, — в VI веке [18, с. 39]. К прибытию славян балтийские племена являлись основным населением верхнеднепровского региона [55, с. 232]. Однако естественная малая плотность населения этих лесных мест и четкое, видимо, сохранение обоюдной этнической самобытности не привели, как мы знаем, ни к какой балтизации даже тех протобелорусских племен, которые дальше всех продвинулись на запад, в вотчину балтов. То же можно сказать и о смолянах, соседях и ближайшей родне Белой Руси, надежно обсевших верх Днепра. Наступила новая, русская эпоха в жизни этой страны.

Литература

1. Ангелов, Д. Славянският свят през IX-X в. и делото на Кирил и Методий в книжовната традиция // *Palaeobulgarica/Старобългаристика* IX, 1985, 2. С. 7, 8, 26.
2. Съчинения на М. С. Дринова. Т. I. Трудове по българска и славянска история. София, 1909. С. 28, 307.
3. Дечев Д. Где са живели смолените? — Сборник в чест на В. Н. Златарски по случай на 30-годишната му научна и професорска дейност. София, 1925. С. 45 и сл.
4. Коледаров Н. С. Климент Охридски, «първи епископ на български език» на драгоцитите в Солунско и на Велпкия в Западните Родопи. — Константин-Кирил «Философ». Юбилеен сборник по случай 1100-годишнината от смъртта му. София, 1969. С. 141 и сл.
5. Цанкова-Петкова Г. Някои моменти от разселването на славянските племена от източния дял на южните славяни и установяването им на Балканския полуостров // *Славянска филология. Доклади и статии за VII МКС. Т. XIV. История и фолклор*. София, 1973.
6. Заимов Й. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. Проучване на жителските имена в българската топонимия. София, 1967.
7. Миков В. Произход и значение на имената на нашите градове, села, реки, планини и места. София, 1943. С. 98

8. *Descriptio civitatum ad septentrionalem plagam Danubii*. [Изд.:] В. Horák a D. Trávníček. - *Rozpravy CSAV*, ročn. 66, řada SV, seš. 2, 1956.
9. Niederle L. *Rukověť slovanských starožitností*. Praha, 1953.
10. Нидерле Л. Славянские древности. М., 1956.
11. Popowska Taborska H. *Etnonimy słowiańskie w procesie komunikacji językowej* // V Ogólnopolska konferencja onomastyczna. Poznań, 1988.
12. Трубачев О. Н. Ранние славянские этнонимы - свидетели миграции славян // *Вопросы языкознания*. 1974. № 6.
13. Рыбаков Б. А. Киевская Русь и русские княжества XII-XIII вв. М., 1982.
14. Vasmer M. *Die Slaven in Griechenland*. Leipzig, 1970.
15. Жучкевич В. А. Краткий топонимический словарь Белоруссии. Минск, 1974.
16. Арциховский А. В. Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1958-1961 гг.). М., 1963.
17. Смоленские грамоты. Подгот. к печ. Т. А. Сумникова и В. В. Лощатин. М., 1963.
18. Седов В. В. Восточные славяне в VI-XIII вв. М., 1982.
19. Андусин Д. А. Возникновение Смоленска. Смоленск, 1957.
20. Писарев С. П. Памятная книга г. Смоленска. Историко-современный очерк. Указатель и путеводитель. Смоленск, 1898.
21. Махотин Б. К живым истокам. Смоленщина в географических названиях. Смоленск, 1989.
22. Никонов В. А. Краткий топонимический словарь. М., 1966.
23. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Изд. 2-е. Т. III. М., 1987. С. 690.
24. Константин Багрянородный. Об управлении империей. Текст, перевод, комментарии. Под ред. Г. Г. Литаврина и А. Н. Новосельцева. М., 1989.
25. Jacobsson G. A rare variant of the name of Smolensk in Old Russian. *Scando-Slavica*, t. X, 1964.
26. Dnjepr. - *Reallexikon der germanischen Altertumskunde*. Begründet von J. Hoops. 2. Auflage. Herausgegeben von H. Beck, etc. Bd. 5, Lief. 2/3. Berlin - New York (отд. отд.)
27. Malingoudis Ph. *Studien zu den slavischen Ortsnamen Griechenlands. I. Slavische Flurnamen aus der messenischen Mani*. Wiesbaden, 1981. S. 101.
28. Frautmann R. *Die elb- und ostseeslavischen Ortsnamen*. Teil II. Berlin, 1949 (= *Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin*).
29. Худаш М. Л. Про походження давньоруських етнонімів Дрогови́чів Уличі // *Мовознавство*, 1981, № 5.
30. История русской литературы. Т. 1 Древнерусская литература. Ред. Д. С. Лихачев и Г. П. Макогоненко. Л., 1980. С. 71-72.

31. Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып. 1. (XI – первая половина XIV в.). Отв. ред. Д. С. Лихачев. Л., 1987. С. 227–228.
32. Trautmann R. Die elb- und ostseeslavischen Ortsnamen. Teil I. Berlin. 1948 (=Abhandlungen der Deutschen Akademie der Wissenschaften zu Berlin).
33. Богатова Г. А. Из истории древнерусских существительных со старой основой на -ѣ- // Вестник МГУ. 1958. № 2. С. 55 и сл.
34. Роспонд С. *Miscellanea onomastica Rossica* // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы. Отв. ред. А. В. Суперанская. М., 1979. С. 13 и сл.
35. Подольская Н. В. Антропонимикон берестяных грамот // Восточнославянская ономастика. Исследования и материалы. С. 204 и сл.
36. Історія української мови. Лексика і фразеологія. Відповід. редактор В. М. Русанівський. Київ, 1983.
37. З історії української лексикології. Відповід. ред. Д. Г. Гринчишин. Київ, 1980. С. 244.
38. Baecklund A. *Personal names in Medieval Velikij Nowgorod. I. Common names*. Stockholm, 1959. С. 73.
39. Грковић М. Имена у дечанских хрисовулама. Нови Сад. 1983. С. 66.
40. Веселовский С. Б. Ономастикон. Древнерусские имена, прозвища и фамилии. М., 1974.
41. Zelechovský J. und Nedilský S. *Ukrainisch-deutsches Wörterbuch*. Nachdruck von O. Horbatsch. T. 3. München, 1982. S. 887.
42. Kuzela Z. und Rudnyčkyj J. B. *Ukrainisch-deutsches Wörterbuch*. 3. Auflage. Wiesbaden, 1987. S. 1148.
43. Brückner A. *Słownik etymologiczny języka polskiego*. Warszawa, 1957.
44. Machek V. *Etymologický slovník jazyka českého*. Praha, 1971.
45. Schuster-Sewc H. *Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache*. Heft 17. Bautzen, 1986, s. 1317.
46. Иванова О. В. Славяне и Фессалоника во второй половине VII в. по данным «Чудес св. Димитрия» // Славянские древности. Этногенез. Материальная культура Древней Руси. Киев, 1980.
47. Schenker A. M. The Gnezdovo inscription in its historical and linguistic setting. – *Russian linguistics*, vol. 13, No. 3, 1989.
48. Херрман И. Ruzzi. Forsderer liudi. Fresiti. К вопросу об исторических и этнографических основах «Баварского географа» (первая половина IX в.) // Древности славян и Руси. Отв. ред. Б. А. Тимощук. М., 1988.
49. Kiss L. *Földrajzi nevek etimológiai szótára*. 4-dik, bővített és javított kiadás. II kötet. Budapest, 1988. С. 597, 687.
50. Хабургаев Г. А. Этнонимия «Повести временных лет» в связи с задачами реконструкции восточнославянского глоттогенеза. М., 1979. С. 185.
51. Alerić D. *Problem desnoga i lijevoga u jugoslavenskoj toponimiji*. Raspravave za jezik, knj. 4–5. Zagreb, 1979, passim.
52. Занков П. Български географски имена с /ъ/. София, 1973.

-
53. Заимов И. Българските водни имена като извор за етногенезиса на българския народ. — Hydronimia słowiańska. Materiały z IX konferencji. Kom. Opom. Słow. Wrocław etc., 1989. С. 118.
54. Kiparsky V. [рец. на кн.:] И. Заимов. Заселване на българските славяни на Балканския полуостров. — ZfslPh XXXIV/2, 1969. S. 436.
55. Топоров В. Н. и Трубачев О. Н. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

(Продолжение следует)

И православные традиции: праздники, обычаи, обряды



ОБЪЯВЛЕНИЕ СИМВОЛА ВЕРЫ, МОЛИТВ И ЗАПОВЕДЕЙ *



О церковных службах.

Всех повседневных церковных служб девять: вечерня, повечерие, полунощница, утреня, часы – 1-й, 3-й, 6-й, 9-й и литургия. Все эти службы прежде совершались отдельно, в положенное для них время, но потом для удобства верующих соединены в три богослужения: *вечернее, утреннее и дневное*.

Вечернее богослужение состоит из 9-го часа, вечерни и малого повечерия, *утреннее* из полунощницы, утрени и 1-го часа, *дневное* – из 3-го и 6-го часов и литургии (Часы, малое повечерие и полунощница – краткие службы и состоит из чтения псалмов и молитв. Эти службы при соединены к более продолжительным службам. В малом повечерии мы просим Бога, чтобы Он простил нам все согрешения, дал нам покой тела и души и сохранил нас во время сна от всякого зла. Кроме малого повечерия есть еще великое повечерие, в котором содержится больше псалмов и молитв. Оно совершается большей частью в Великом посту и при том в те дни, когда вечерню положено совершать раньше, вместе с «часами», а также совершается перед утреней в праздники Рождества Христова и Крещения Господня. Полунощницу святые отцы читали в полночь. В ней напоминает о страшном суде и верующие возбуждаются к бодрствованию, чтобы быть готовыми встретить Судью живых и мертвых, то есть Иисуса Христа.)

Накануне праздников вечерню совершают вечером вместе с утреней в 1-м часом. Такое богослужение называется *всенощным бдением*, или *всенощною*.

* Начало см.: Русская речь. 1991. №№ 2-6, 1992. №№ 1-3.

Всенощное бдение.

Всенощным бдением, или *всенощною*, называется такое богослужение, которое совершается вечером накануне праздничных дней. Оно состоит из соединения вечерни с утреней и 1-м часом, причем как вечерня, так и утренняя совершаются более торжественно и при большем освещении, чем по будням. Это богослужение называется *всенощным* потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось *всю ночь* до рассвета. Потом из снисхождения к немощам верующих стали начинать это богослужение несколько раньше и делать сокращения в чтении и пении, и потому оно и кончается теперь не так поздно. Прежнее же название *всенощное бдение*, то есть бодрствование, сохранилось.

Вечерня.— Вечерня за всенощным начинается при открытых царских вратах. По оказании престола и алтаря священник возглашает: *«Слава свягѢй и единосущнѢй, и животворящей, и нераздѣльнѢй ТроицѢ, всегда, нынѢ и присно, и во вѢки вѢковъ»* и потом троекратно приглашает всех прийти поклониться Христу, Царю и Богу нашему. Певчие поют стихи псалма: *«Благословѣй (то есть прославь), душѣ моя, Господа! Господи, Боже мой, возвеличился еси зѢло (то есть весьма), вся премудростію сотворилъ еси. Слава Ти, Господи, сотворившему вся!»* Во время этого пения священник, в предшестве диакона со светильником в руке, совершает каждение пред иконами и к народу. После этого царские врата закрываются и следует великая ектения. (Ектении произносятся диаконом, а если его нет, то священником. «Ектения» слово греческое и значит: протяжение, или протяжное произносимое моление. Большею частью произносятся в церкви четыре ектении: 1) *великая*, начинающаяся словами: *«миромъ Господу помолимся»*, то есть помолимся Господу, находясь в мире со всеми; она всегда произносится при начале богослужения и называется *великою* потому, что в ней больше прошений, чем в других ектениях; 2) *малая*, начинающаяся словами: *«паки и паки миромъ Господу помолимся»*; 3) *сугубая*, или усиленная, во время которой *«Господи, помилуй»* поется трижды, и 4) *просительная*, начинающаяся словами: *«исполни мѣ... молитву нашу Господеву»*; во время нее после произносимых прошений поется *«подай, Господи!»* Каждая ектения заканчивается возгласом священника, которым он прославляет Бога.— Отца, и Сына, и Святого Духа, а также пением слова: *«аминь»*.) Далее следует пение стиховъ изъ псалмовъ: *«Блаженъ мужъ, иже не иде на советъ нечестивыхъ»... «Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя; вонми гласу моления моего, внигда воззвати ми къ Тебѣ»* (то есть когда взываю к тебе) и *«Да исправится молитва моя, яко кадило предъ Тобою; воздѣяніе рукъ моихъ — жертва вечерняя»* со стихирами, то есть песнопениями в честь праздника. При пении последней стихирь, называемой *Богородичен*, царские врата отворяются и совершается *вечерний вход*. Он происходит так: чрез северные двери алтаря выходит священник в предшестве диакона с кадилом

и несомого впереди светильника, становится на солее против царских врат благословляет крестообразно вход и, по произнесении диаконом «*премудрость, прбсти*» (то есть стойте прямо и благоговейно), входит чрез царские врата в алтарь, а певчие поют песнь Сыну Божию: «*Сѣте тихій. (Сѣте тихій святыхъ славы, безсмертнаго Отца небеснаго, святаго блаженнаго, Иисусе Христе! Пришедше на западъ солнца, видѣвше свѣтъ вечерній, поемъ Отца, Сына и Святаго Духа.— Бога. Достоинъ еси во вся времена нѣтъ быти гласы преподобными, Сыне Божій, животъ даждь, тѣмъ же мрътя славить.*

Пришедше на западъ солнца—дожив до захождения солнца; *видѣвше свѣтъ вечерній*—увидев наступивший вечерний свет (сумерки); *во вся времена*—во всякое время; *нѣтъ быти*—чтобы Тебе воспевали (песнь); *гласы преподобными*—голосами свитыми, чистыми устами; *животъ даждь*—жизнь дающий; *тѣмъ же*—поэтому.) Вечерня заканчивается ектениями—сугубой и просительной, чтением молитвы: «*Нынѣ отпущаеши*» и пением: «*Богородице Дѣво, радуйся*» или тропаря праздника. По тоекратном пении «*Буди имя Господне благословенно отъ нынѣ и до вѣка*», священникъ выходит на солею и, благословляя народ, говорит: «*Благословение Господне на васъ, Того благодатию и человеколюбиемъ всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ*». Певчие поют: *аминь*, и начинается утренняя чтением шестопсалмия.

Накануне большихъ праздниковъ, каковы, например, двенадесятые, после вечернего входа бываетъ чтение *паремий*, а после сугубой и просительной ектении *лития* и *благословение хлебовъ*. Паремиями называются избраные места изъ книгъ большею частию ветхого завета, содержащия в себѣ пророчества и прообразованія о Спасителе, Божией Матери или о празднуемомъ событїи. Литїей же называется моление, совершаемое в притворе или близъ входныхъ западныхъ дверей. Это моление издревле положено совершать для того, чтобы стоявшіе здѣсь оглашенные и кающіеся не были лишены участія в торжестве праздника. Вследъ за литїей бываетъ благословение и освящение пяти хлебовъ, пшеницы, вина и елея в память древняго обычая раздавать это молящимся, приходившимъ иногда издалика, для подкрепленія ихъ силъ. Освященнымъ же елеемъ священникъ во время утрени помазываетъ чело молящихся после целованія ими иконы праздника.

Вечерня напоминаетъ намъ времена ветхозаветныя. Такъ, например, стихиисалма: «*Благослови, душе моя, Господа*» прямо указываютъ на сотвореніе Богомъ міра; открытыя, при пении ихъ, царскіе врата напоминаютъ невинное и блаженное состояніе прародителей въ раю, а закрытіе вратъ, после этого пения, напоминаетъ о грехопадении первыхъ людей и изгнаніи ихъ изъ рая, причемъ для нихъ закрылись врата райскіе. Пениемъ стиховъ: «*Блаженъ мужъ*» и «*Господи, воззвать къ Тебѣ, услыши мя*» изображается раскаяніе человека и моленіе о спасеніи. Вечерній входъ с песно

пением: *«Сѣте тихій»* и с чтением паремий показывает, что ветхозаветные праведники ожидали и предвидели пришествие Спасителя на землю для спасения людей. Молитвословия: *«Ныль отпущаеши»* и *«Богородице Дѣво, радуйся»* указывают на исполнение обещания Божия о Спасителе.

Утрени. — Главный порядок утрени на всенощном таков. За чтением шестопсалмия следуют великая ектения, пение *«Богъ Господь и явися намъ»* с тропарем праздника, чтение кафизм, то есть отделений из Псалтири, и пение стихов псалма: *«Хвалите имя Господне, хвалите рабѣ Господа, аллилуя (аллилуія) значит: хвала Богу!»*; *«благословенъ Господь отъ Сіона, живый во Іерусалимѣ, аллилуя; исповѣдайтеся Господу, яко благъ, яко въ вѣкъ милость Его, аллилуя; исповѣдайтеся Богу не-бесному, яко въ вѣкъ милость Его, аллилуя»*. После этого на воскресной службе поют воскресные тропари, в которых прославляется воскресение Христово. При пении *«хвалите имя Господне»* царские врата открываются и бывает каждение по всему храму. Если же это другой какой-либо праздник, то при этом пении выносятся на средину храма икона праздника и, вместо воскресных тропарей, поется пред нею праздничное величание, а потом, пока певчие повторяют это величание, бывает каждение по всему храму. Далее идет чтение евангелия, пение и чтение канона. (Канон значит правило. Он состоит из 9-ти песней. Песнью канона называется ряд стихов во славу Господа или Божией Матери, а также во славу празднуемого события или Святого, прославляемого в этот день. Первый стих каждой песни бывает во славу Господа, а иногда и в честь Божией Матери, если это Богородичный праздник. Он называется ирмосом и всегда поется. Остальные стихи бывают во славу празднуемого события или в честь прославляемого лица. Они называются тропарями и всегда читаются, за исключением Пасхальной недели, в которую все поется. Пред 9-ю песнью и в 9-ом ирмосе чествуется и прославляется Божия Матерь. Если не положено особых праздничных припевов, то после 8-й песни обыкновенно диакон с кадилом становится пред иконою Божией Матери и возглашает: *«Богородицу и Матерь Света въ пѣсньхъ возвеличимъ!»* Певчие поют хвалебную песнь Самой Богородицы, которую Она произнесла при Своем свидании с праведною Елисаветой: *«Величитъ душа моя Господа»*... с припевом к каждому стиху: *«Честнѣйшую Херувимъ»*...) Во время канона по воскресным дням все прикладываются к Евангелию, а по другим праздничным дням — к иконе праздника. Если на вечерне была лития с благословением хлебов, то священник помазывает приложившихся к иконе освященным при этом благословении елеем. Последняя: *«всякое дыханіе да хвалитъ Господа»* и песнопения в честь Божией Матери, царские врата отворяются и священник возглашает: *«Слава Тебѣ, показавшему намъ свѣтъ!»* Певчие поют великое славословие: *«Слава въ вышнихъ Богу, и на земли миръ, въ чловѣцѣхъ благоволеніе; хвалимъ Тя, благословимъ Тя, кланяемся, славословимъ Тя, благодаримъ Тя, великія ради славы Твоея»*... При этом прославляется Пре-

святая Троица и особенно Господь Иисус Христос, как Совершитель нашего спасения, просветивший мир светом истины и Богопознания. «Великое славословие» заканчивается пением Трисвятого: *«Святый Боже»*... После этого следуют две ектении: сугубая и просительная, а также пение молитвы, чтобы Господь сохранил на многие лета Государя и весь Царствующий Дом, Св. Синод, местного архиерея и всех православных христиан. Затем начинается последняя часть всенощного бдения, — 1-й час.

Утренняя содержит в себе воспоминание и прославление новозаветных священных событий, а также и прославление Святого, памяти которого посвящен этот день. Так, например, троекратно произносимое пред шестопсалмием малое славословие *«слава въ вышнихъ Богу»*... напоминает славословие ангелов, являвшихся вифлеемским пастырям в ту ночь, когда родился Иисус Христос: пением, после шестопсалмия и великой ектении, слов: *«Богъ Господь и явился намъ»* показывается, что Иисус Христос есть Бог и Господь, и прославляется Его спасительное пришествие в мир. Поющая вслед за этим краткая песнь, называемая тропарем, выражает сущность воспоминаемого в этот день события, или указывает главные подвиги празднуемого Святого, смотря по тому, что в этот день воспоминается или празднуется. Читаемые затем псалмы Давидовы (кафизмы) содержат в себе пророчества о крестных страданиях Иисуса Христа. Пение по праздникам стихов: *«хвалите имя Господне»*... призывает всех верующих восхвалить Господа за все Его милости к нам. В поющих, вслед за этим, воскресных тропарях говорится о том, как ангелы явились мироносицам, пришедшим ко гробу Спасителя, и возвестили им о воскресении Его. В Евангелии говорится или о явлениях воскресшего Христа Своим ученикам, или же о том, что более всего напоминает нам о празднуемом лице или событии. В каноне чествуется празднуемое событие, или же Святой, прославляемый в этот день. В стихах хвалитных псалмов: *«всякое дышане да хвалитъ Господа»* — призываются все творения Божии к прославлению Господа. В «великом славословии» благодарим Бога за дневной свет и за дарование духовного Света, то есть Христа-Спасителя, просветившего людей Своим учением.

1-й час. К утрени присоединяется чтение *первого часа*. Так называется эта краткая служба от обычая древних проводить в молитве первый час наступившего дня. Как и теперь, этою именно службою в прежнее время и кончалось всенощное бдение, продолжавшееся всю ночь до рассвета. Во время службы 1-го часа, состоящей из чтения псалмов и молитв, мы просим Бога, чтобы Он *завтра услышалъ гласъ нашъ* и исправил дела наших в продолжение дня, а заканчивается она хвалебною песнью в честь Божией Матери: «Взбранной Воеводѣ побѣдительной, яко избавльшеся отъ злыхъ, благодарственная восписуемъ Ти, раби Твои, Богородице; но, яко имущая державу непобѣдимую, отъ всякихъ насъ бѣдъ свободи, да зовемъ Ти: радуйся, Невѣсто неневѣстная!» (Мы, рабы твои, Богородице, Тебе, как победоносной Военачальнице, приносим победную и благодарственную песнь за то, что избавлены от бед. Ты же, как имеющая

силу непобедимую, и впредь освобождай нас от всяких бед, а мы Тебе будем взывать: радуясь Невеста, в брак не вступавшая!) Заканчивается служба 1-го часа словами священника, обращенными к народу, чтобы Христос, истинный Бог наш, по молитвам Божией Матери и всех Святых помянул и спас нас, как благий и человеколюбец.

Литургия.

Литургия, или обедня, есть самое важное богослужение. Во время нее вспоминается земная жизнь Спасителя и совершается таинство св. Причащения по заповеди Его: «*сие творите в Мое воспоминание*». Чип, или порядок, литургии установился со времени апостолов, а письменно изложен в 4-м столетии по Рождестве Христовом вселенскими учителями и святителями Василием Великим и Иоанном Златоустом. [Св. Василий Великий был архиепископом Кесарии Каппадокийской (в Малой Азии). «Великим» прозвали его за великие подвиги на пользу церкви. Он оставил после себя много писаний, много молитв и церковных правил.— Св. Иоанн Златоуст был архиепископом Константинопольским. «Златоустом» прозвали его за особенное красноречие, с которым он проповедовал слово Божие. Им сделаны сокращения в молитвах, тайно читаемых священником во время литургии, и потому его литургия *сравнительно с литургией Василия Великого* менее продолжительна. Существенно же эти литургии ничем не отличаются между собою]. Литургия Василия Великого совершается в течение года очень редко; обычно же совершается литургия Иоанна Златоуста.

Литургия состоит из трех частей: *проскомидии, литургии оглашенных и литургии верных*.

Проскомидия.— «Проскомидия» — слово греческое и значит: *принесение*. Так называется первая часть литургии от обычая древних христиан приносить хлеб, вино и все нужное для совершения литургии; поэтому и самый хлеб, употребляемый на ней, называется *просфорой*, что значит: *приношение*. Просфора состоит из двух круглых хлебцев, соединенных вместе, что напоминает нам о двух естествах в Иисусе Христе: Божеском и человеческом. На верхней стороне просфоры большею частью бывает изображение креста Господня со словами Ис. Хс. н-ка, что значит: Иисус Христос побеждает. Для совершения литургии требуется пять просфор и красное виноградное вино.

Проскомидия совершается так. Облачившись в священные одежды, священник, по омовении своих рук, подходит к жертвеннику, берет просфору и, вспоминая Иисуса Христа и Его крестные страдания, вынимает из нее копием кубическую часть с печатью креста Господня. Надрезав крестообразно эту часть снизу, он полагает ее печатью вверх посредине диска.

Эта часть называется *агнец* и означает Иисуса Христа, Который, подобно агнцу, был принесен в жертву Богу за грехи людей. Она потом, во время литургии, освящается и пресуществляется в тело Христово. Вспоминая, как из прободенного ребра Христова потекла кровь и вода, священник прободает копием правую сторону агнца и при этом влиняет в потир, или чашу, красное виноградное вино, соединенное с водою. Это вино также потом освящается и пресуществляется в кровь Христову, которою, вместе с телом Христовым, причащаются христиане.— Из 2-ой просфоры священник вынимает копием маленькую треугольную частицу в честь и память Божией Матери и кладет ее подле агнца с правой его стороны; из 3-й, называемой девятичинною, он вынимает девять частиц в честь разных ликов Святых и кладет их с левой стороны агнца по три в ряд; из 4-й вынимаются частицы за здравие живых, а из 5-й за упокой умерших христиан. Эти частицы, как заздравные, так и заупокойные, священник полагает в два отдельных ряда внизу агнца. Молящиеся подают со своей стороны просфоры и просят помянуть близких им людей за здравие или за упокой. Вынутые из этих просфор частицы полагаются также внизу агнца. Таким образом на дискос под видом просфорных частиц является вся Церковь Христова с главою ее — Иисусом Христом. На дискос ставится звезда. Она напоминает звезду, явившуюся во время рождения Иисуса Христа, и употребляется для того, чтобы вынутые из просфор частицы лучше сохранили свой порядок. Положив затем на дискос и потир покровцы, а сверх них один общий покров, называемый воздухом, священник кадит пред дарами и молит Господа благословить и принять их в пренебесный Свой жертвенник, помянуть тех, кто их принес и за кого они принесены, а его самого сделать достойным совершителем таинства.

Во время проскомидии читаются на клиросе часы 3-й, 6-й, а иногда и 9-й. Эти краткие церковные службы, состоящие из чтения псалмов и молитв, называются часами потому, что в древности было положено совершать их в определенные часы дня: например, служба «третьего часа» совершалась в третьем часу от начала дня в воспоминание того, что в этот час Дух Святой сошел на апостолов; служба «шестого часа» совершалась в шестом часу в воспоминание распятия Иисуса Христа в этот час, а служба «девятого часа» совершалась в воспоминание смерти Иисуса Христа в девятом часу от начала дня.

Литургия оглашенных.— По совершении проскомидии и по прочтении часов начинается вторая часть литургии, — *литургия оглашенных*. Она еще в древности получила такое название потому, что во время нее имели право присутствовать не только верные, то есть крещенные, но и *оглашенные*, то есть приготовлявшиеся к крещению чрез оглашение, или известное научение их вере христианской.

«Литургия оглашенных» начинается возгласом священника: *«Благодатно (то есть достойно прославления) царство Отца, и Сына, и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков»* и состоит 1) из молитвосло-

вий, называемых ектениями, 2) песнопений в честь Господа и 3) чтения Слова Божия. Так, за начальным возгласом священника следует великая ектения, пение изобразительных псалмов: *«Благословей, душе моя, Господа»...* и *«Хвали, душе моя, Господа»...* между которыми бывает малая ектения. Эти псалмы называются изобразительными потому, что в них изображаются милости Божии, особенно оказанные людям чрез воплощение Сына Божия. (В Пасху же и двенадцатые Господни праздники, вместо этого, поют особые стихи, соответствующие празднуемому событию). К стихам второго изобразительного псалма прибавляется песнь *«Единородный Сыне»*, в которой, вспоминая Его воплощение, распятие и победу над смертью, мы просим Его спасти нас. (*Единородный Сыне и Слове Божий, безсмертенъ сый, и избавивый спасения нашего ради воплотитися отъ Святыя Богородицы и Приснодѣвы Маріи, непреложно вочеловѣчивыйся, распный же, Христе Боже, смертию смерть поправый, единъ сый Святыя Троицы, прославляемый Отцу и Святому Духу, спаси насъ.*

Непреложно вочеловѣчивыйся = сделавшийся человеком, не переставая быть Богом; *смертию смерть поправый* = Своею смертью победивший нашу смерть; *единъ сый Святыя Троицы* = один из лиц Святой Троицы; *прославляемый Отцу и Святому Духу* = прославляемый наравне с Отцом и Святым Духом). При пении «евангельских блаженств» царские врата открываются и совершается малый вход. Этот вход совершается так: из северных дверей алтаря диакон в преднесении светильника и в сопровождении священника выносит Евангелие на солею и, став среди открытых царских врат, возглашает: *премудрость, прѣсти*, после чего полагает Евангелие на престол, а певчие поют: *«Придите, поклонимся и припадѣмъ ко Христу: спаси ны, Сыне Божій... поющія Ти: аллилуя»*. При этом шествии с Евангелием мы должны представлять себе, как будто это идет Сам Иисус Христос на проповедь, слова же диакона: *«премудрость, прѣсти»*, — указывают, чтобы мы стояли с благоговением и были внимательны к премудрому учению Иисуса Христа и ко всему, что происходит теперь в церкви. После пения Трисвятого *«Святый Боже»* ... читаются Апостол и Евангелие. Это чтение мы должны слушать с таким же вниманием и благоговением, как бы видели и слушали Самого Иисуса Христа и апостолов. К такому вниманию мы и приглашаемся пред чтением Апостола словами: *внимемъ, премудрость*, а пред чтением Евангелия — *«премудрость, прѣсти, услышимъ святаго Евангелія»*. Как пред чтением, так и после чтения Евангелия поют: *«Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ»*, — чем выражается от лица молящихся радость, что Господь удостоил их слушать святое благовестие. Затем произносятся ектении, в которых содержится моление о живых, умерших и оглашенных. Повелением оглашенным выйти из храма заканчивается вторая часть литургии.

Литургия верных. Третья часть литургии называется *литургиею верных*, потому что на ней могут присутствовать только верные, то есть крещенные. Она начинается словами диакона: *«Елицы вѣрнии, наки и*

наки миромъ Господу помолимся», — и содержит в себе шесть частей: 1) перенесение даров с жертвенника на престол, 2) приготовление верующих к достойному присутствию при их освящении, 3) освящение даров и поминовение членов Церкви, 4) приготовление верующих к причащению, 5) причащение священнослужителей и мирян и 6) благодарение за причащение и окончание литургии.

1) Перенесение даров с жертвенника на престол.

Перенесение даров с жертвенника на престол совершается так: царские врата открываются, и певчие начинают «херувимскую песнь»: *«Иже херувимы тайно образующе и животворящей Троицѣ трисвятую пѣснь припѣвающе, всякое нынѣ житейское отложимъ попечение. Яко да Царя вѣсть подѣлимъ, ангельскими невидимо дориносима чинми. Аллилуа»*.

Таинственно изображая херувимов и воспевая трисвятую песнь Троице, дающей жизнь, — отложим теперь заботу о всем житейском; чтобы нам прославить Царя всех, Которого невидимо ангельские чины торжественно прославляют. Хвала Богу!

Тайно образующе = таинственно изображая, или таинственно представляя из себя; *животворящей* = жизнь дающей; *припѣвающе* = воспевая; *отложимъ* = устраним от себя; *житейское попечение* = забота о чем-нибудь житейском, забота о земном; *яко да* = чтобы; *подѣлимъ* = прославить; *дориносима* = с торжеством носимого, торжественно прославляемого («дори» — слово греческое и значит: копьё, так что «дориносима» собственно значит: копьеносимого; в древности, желая торжественно прославить царей или военачальников, сажали их на щиты и, подняв вверх, носили их на этих щитах пред войсками, причем щиты по бокам поддерживались копьями, так что издали казалось, что прославляемых лиц несут на копьях); *ангельскими чинми* = ангельскими чинами (всех ангельских чинов, или разрядов, — девять). *Аллилуа* = хвала Богу!

Это песнопение напоминает нам, чтобы мы теперь не думали ни о чем житейском, а представляли бы себе, что подобно херувимам находимся близ Бога на небе и как бы вместе с ними поем Ему трисвятую песнь (так называется здесь слово «аллилуа», которое поется в конце «херувимской» три раза). Посредине херувимской песни на словах: «отложимъ попечение» пение прерывается, и, я преднесенный святильника, диакон с дискосом на голове, а за ним священник с чашею в руках выходит из алтаря чрез северные двери на солею. Это шествие с дарами называется «великим входом» в отличие от «малого входа» с Евангелием и напоминает о шествии Иисуса Христа на страдания. Обратись к народу, диаконов и священников произносят моление, чтобы Господь Бог поминул во царствии Своем Государя со всем Царствующим Домом (то есть семейством), Св. Синод, местного архиерея, всех находящихся в храме и всех православных христиан. При этом все присутствующие стоят благоговейно с приклоненною головою и, подобно благоразумному разбойнику, молит Господа по-

мянуть их и всех близких к ним во царствии Своем. Затем чрез царские врата дары вносятся в алтарь и ставятся на антиминс, заранее развернутый на престоле; на чашу и дискос, взамен покровцев, возлагается воздух, а царские врата затворяются и закрываются завесой, что знаменует собою погребение Христово; певчие же доканчивают пение херувимской песни.

2) Приготовление верных к достойному присутствию при освящении даров.

После перенесения даров следует вторая часть «литургии верных» — приготовление верующих к достойному присутствию при освящении даров. Эта часть начинается просительной ектенией, в которой к другим обычным прошениям прибавляется прошение *о предложенных честных дарах*, то есть чтобы они были угодны Господу, о чем в то же время втайне молится священник, и чтобы Господь освятил их Своею благодатию. Так как для достойного присутствия при совершении таинства необходимы: во-первых, мир душевный, во-вторых, взаимная любовь и, в-третьих, надлежащая одинаковая у всех вера, то после просительной ектении священник, благословляя народ, говорит: *«мир всем»*, чего молящиеся желают и его душе; затем возглашается: *«Возлюбимъ другъ друга, да единомыслиемъ исповѣмы»*, на что певчие поют: *«Отца, и Сына, и Святаго Духа, Троицу единосущную и нераздѣльную»*, и этим показывают, Кого следует так единомысленно исповедать; за возгласом же *«двери, двери, премудростию возьмемъ»* — поется Символ веры, где подробно излагается наше верование в Св. Троицу и в другие главные истины православной христианской веры. При этом завеса от царских врат и воздух с даров отнимаются в знак того, что только одна вера открывает нам невидимое и непостижимое. Слова «двери, двери» в древности напоминали придверникам лучше смотреть за дверями храма и не впускать в него оглашенных и неверующих; теперь же этими словами напоминает нам затворить двери своей души для посторонних мыслей, а словами *«премудростию возьмемъ»* указывается, чтобы мы были внимательны к тем премудрым истинам, о которых говорится в Символе веры. — После пения Символа веры возгласом: *«Станемъ добръ, станемъ со страхомъ, возьмемъ, святое возношение въ миръ приносити»* обращается внимание всех на то, что наступило время приносить «святое возношение», или жертву, то есть совершать таинство евхаристии, или причащения, и что это следует делать «добръ», то есть хорошо и как следует, «со страхом», то есть с особенным благоговением и опасением сделать это не так, как подобает, — и непременно находясь при этом «в мире». В ответ на это певчие от лица молящихся поют: *«милость мира, жертву хваления»*, то есть будем приносить «дары мира», как необходимого условия для надлежащего возношения, и эти дары будут в то же время «хвалебную и благодарственную жертвою» Господу за все Его благодеяния. Священник, благословляя молящихся на святое дело,

приветствует их словами: *«Благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любви (то есть любовь) Бога и Отца, и причастіе (то есть общение) Святаго Духа буди со всѣми вами!»* Приготовление к достойному присутствию при совершении таинства оканчивается приглашением священника: *«горѣ имѣимъ сердцѣ»*, то есть устремим свои сердца вверх, к небу, и ответом певчих от лица молящихся: *«ѣмамы ко Господу»*, то есть мы уже устремили свои сердца к Господу.

3) Освящение даров и поминовение членов Церкви.

Третья и самая важная часть «литургии верных», — освящение даров, — начинается словами священника: *«Благодарим Господа!»* Верующие выражают свою благодарность Господу за все Его милости «поклонением Ему» и поют: *«Достойно и праведно есть поклоняться Отцу, и Сыну, и Святому Духу, Троицѣ единосущнѣй и нераздѣльнѣй»*. Священник же в это время тайно читает молитву и в ней благодарит Бога за все Его благодеяния и за то, что Бог принимает от нас эту бескровную жертву, хотя Ему предстоят более высшие существа, — архангелы, ангелы, херувимы и серафимы, — *«побѣдную пѣснь поюще, вопиюще, взывающе и глаголюще»*. Певцы к этим последним словам священника, произнесенным вслух, прибавляют, что именно взывают Господу эти небожители: *«Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваофъ, исполнь небо и земля славы Твоея»*. К этой песне, называемой «серафимской», присоединяются восклицания, которыми народ приветствовал вход Господень в Иерусалим: *«Осанна въ вышнихъ, благословѣнь грядый во имя Господне, осанна въ вышнихъ!»* Во время этого пения священник, продолжая свою молитву, с благодарностью воспоминает и о том, как Господь Иисус Христос накануне Своих крестных страданий установил таинство св. причащения, а вслух произносит слова, какие Господь при этом сказал Своим ученикам и апостолам: *«Примите, ядите, сіе есть тѣло Мое, еже за вы ломимое во оставленіе грѣховъ»* и *«пійте отъ нея вси, сія есть кровь Моя Новаго Завѣта, яже за вы и за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ»*. Певчие от лица верующих подтверждают это словом «аминь».

Вспоминая при этом в читаемой про себя молитве, как Господь заповедал «творить сіе въ Его воспоминаніе», а также крест, гроб, воскресение и вознесение Его на небо, одесную сидение и второе славное Его пришествіе, священник затем совершает «святое воззвоніе». Он берет крестообразно сложенными руками чашу с дискосом, поднимает их вверх и возглашает: *«Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще о всѣхъ и за вся»*, показывая этими словами, что хлеб и вино, данные нам Господом вместе с другими дарами, мы Ему же приносим в жертву за все Его милости. Певчие поют: *«Тебе поемъ, Тебе благословимъ, Тебѣ благодаримъ, Господи, и молимся, Боже нашъ»*. Во время этого пения священник с воздетыми кверху руками троекратно молит Господа о ниспослании Святого Духа на него и на дары и затем благословляет агнец, говоря: *«И со-*

твори убо хлѣбъ сей — честное тѣло Христа Твоего»; потом благословляет чашу с вином и говорит: «А еже въ чаши сей — честную кровь Христа Твоего»; после этого благословляет то и другое вместе, говоря: «Преложить Духомъ Твоимъ Святымъ». При этом дары освящаются и пресуществляются: хлеб — в тело Христово, а вино — в кровь Христову. Это — самая важная минута во время литургии, и потому все находящиеся в храме молятся при этом с особенным усердием, повергаясь вслед за священником на землю пред св. Дарами, а отсутствующих еще заранее извещают о наступлении этой минуты звоном в колокол, называемымся благовестом к достойно, так как пред этим поется песнь: «Достойно и праведно есть»...

По освящении даров священник начинает втайне поминать всех членов Церкви, за которых принесены эти дары, и при этом сначала с благодарностью воспоминает о *святых людях*, почивших в вере, которых Господь прославил и соделал ходатаями и молитвенниками о нас на небе, возглашая: «Изрядно (то есть особенно воспоминаем) о пресвятѣй, пречистѣй, преблагословеннѣй, славнѣй Владычицѣ нашей Богородицѣ и Приснодѣѣ Маріи». Певчие прославляют Ее песнью: «Достойно есть яко воистинну блажити Тя Богородицу»... В некоторые дни вместо «Достойно» положено петь ирмос 9-й песни канона с праздничным припевом, а иногда без него, и тогда этот ирмос один или вместе с припевом называется *застойником*. Во время пения этой песни, кончив моление о Святых словами: «иже молитвами посѣти насъ, Боже», священник молится и о *всех усопших христианах*, а потом начинает молиться о *живущих на земле членах Церкви*, причем вслух произносит: «Въ первыѣхъ, то есть прежде всего, помяни, Господи, Святѣйшій Правительствующій Синодъ (и местного архиерея), иже даруй святымъ Твоимъ цѣрквамъ (то есть сохрани их для святых Твоих церквей), въ мирѣ цѣлѣхъ (то есть в безопасности), честныхъ (то есть в чести), здравыхъ, долгоденствующихъ, право правящихъ слово Твоея истины» (то есть верно преподающих слово Твоей истины). Певчие от лица молящихся поют: «И всѣхъ, и вся», то есть помяни, Господи, всех мужчин и всех женщин. Священник же, докончив моление о всех с верою живущих, возглашает: «И даждь намъ единымъ устѣ и единымъ сердцемъ (то есть одинаково и единодушно) славити и воспѣвати пречестное и великолѣпное имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго Духа, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ», а затем, благословляя народ, говорит: «И да будутъ милости великаго Бога и Спаса нашего Иисуса Христа со всѣми вами». Певчие от лица всех поют: «И со духомъ твоимъ», то есть и тебе того же желаем от Господа. Вслед за этим идет 4-я часть «литургии верных».

4) Приготовление верующих к причащению.

Приготовление верующих к причащению совершается, во-первых, чрез произнесение просительной ектении, в которой к обычным прошениям прибавляется еще прошение «о принесенныхъ и освященныхъ честныхъ

дарѣхъ»; чтобы Господь милостиво принял их в пренебесный Свой жертвенник и ниспослал нам Божественную благодать и дар Святого Духа, а в то же время священник тайно молит Господа сподобить всех неосужденно и во спасение причаститься святых Таин; во-вторых, чрез пение молитвы Господней «*Отче нашъ*», которая поется вслед за возгласом священника «и сподоби насъ, Владыко, со дерзновениемъ неосужденно смѣти призвати Тебе, небеснаго Бога Отца, и глаголати»: под хлебом насущным, которого мы просим себе у Бога в этой молитве, разумеются при этом тело и кровь Христовы, как необходимая для нашей души пища; в-третьих, чрез благословение священника со словами: «миръ всѣмъ» и, в-четвертых, чрез произнесение им после возгласа «*вѣнчаемъ*» слов: «*Святая святымъ*», иначе сказать: Святые Дары могут быть преподаны только святым, то есть чистым от грехов, причем, сознавая свою греховность, мы со смирением поем: «*Единъ святъ, единъ Господь, Иисусъ Христосъ, во славу Бога Отца, аминь*», и этим заканчивается 4-я часть «литургии верных».

5) Причащение священнослужителей и мирян.

Пятая часть «литургии верных», — причащение священнослужителей и мирян, — начинается пением «причастного стиха» (так называется какой-либо краткий стих, большею частью из псалмов; например, в воскресные дни поют: *хвалите Господа съ небесъ, хвалите Его въ вышнихъ*; «причастнымъ» этот стих называется потому, что во время пения его причащаются в алтаре священнослужители), причем царские врата бывають закрыты завесой, что напоминает о том камне, который был привален ко гробу Господню. Во время пения причастного стиха священник раздробляет агнец Божий на четыре части, из коих одну с буквами ИС опускает во св. Чашу, вливая туда затем теплоту, то есть горячую воду; другою частию с буквами ХС причащаются священнослужители, пьют затем троекратно кровь Христову из Чаши; остальные же две части с буквами ИИ-КА опускаются в Чашу, а если есть причастники из мирян, то пред опусканием эти части раздробляются. После этого завеса отнимается, царские врата отворяются и с Чашею в руках священнослужитель, обратясь к молящимся, возглашает: «*Со страхомъ Божиимъ и вѣрою приступите!*» Воспомявая при этом воскресение Иисуса Христа, мы преклоняемся пред св. Чашею, как пред Самим воскресшим Спасителем, и поем Ему: «*Благословенъ грядый во имя Господне; Богъ Господь и явился намъ*». Если есть исповедавшиеся и желающие причаститься св. Таин, то священник произносит «молитву пред причащением», которую и они вслед за ним повторяют. Сделав земной поклон, они потом чинно и благоговейно подходят ко св. Чаше один за другим, сложив руки свои крестообразно на груди. И священник из ложки сподобляет их св. причастия. Во время этого причащения на клиросе поют: «*Тѣло Христово примите, источника безсмертнаго вкусите, аллилуйа*».

По причащении мирян, Чаша относится на престол, и в нее опускаются все частицы с дискаса, вынутые во время проскомидии, как в честь Святых, так равно за здравие живых и в память усопших со словами: *«Отмый, Господи, грѣхи поминавшихся здѣ кровію Твоею честною, молитвами Святыхъ Твоихъ»*. Затем священник, обратясь к народу и благословляя его, возглашает: *«Спаси, Боже, люди Твоя и благослови достояніе Твое»* (то есть, чтобы Бог спас и осчастливил Своими милостями нас, составляющих Его достояние, или собственность). Воспоминая при этом Господа, явившегося по воскресении апостолам и преподававшего им мир и благословение, мы вспоминаем также о тех благодеяниях, какие получены нами чрез Него, и поем: *«Видѣхомъ свѣтъ истинный, пріяхомъ Духа небеснаго, обрѣдохомъ вѣру истинную, нераздѣльнѣй Троицѣ поклоняемся: Та бо насъ спасла есть»*.

Наконец, обратясь со св. Чашею к народу в последний раз и крестообразно осения ею молящихся, священник возглашает: *«Всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ»* и относит ее на жертвенник. При этом последнем появлении Чаши мы вспоминаем о последнем явлении Иисуса Христа апостолам в 40-й день по воскресении и Его вознесение на небо, а слова священника напоминают обещание Господа всегда пребывать среди верующих, «во все дни до скончания века».

6) Благодарение за причащение и окончание литургии.

По отнесении Чаши на жертвенник, наступает шестая и последняя часть «литургии верных». Она начинается благодарственной песнью: *«Да исполнятся уста наша хваления Твоего, Господи, яко да поемъ славу Твою, яко сподобилъ еси насъ причаститися святымъ Твоимъ, Божественнымъ, безсмертнымъ и животворящимъ Тайнамъ, соблюди насъ во Твоей святыни (то есть святости), весь день поучатися правдѣ Твоей (то есть повседневно жить праведно), аллилуіа»*. После этого произносится краткая ектения, которою призываются все причастники *«достойно благодарить Господа»* и, испросив Его помощи провести этот день свято, мирно и безгрешно, — предать самих себя и весь живот свой, то есть жизнь, Христу Богу. Эту ектению священник, сложив антиминс и осения его крестообразно Евангелием, заканчивает словами: *«Яко Ты еси освященіе наше, и Тебѣ славу возсылаемъ, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ»* и к этому прибавляет: *«съ миромъ изыдемъ»*, показывая тем, что литургия кончилась, и все могут с миром выходить из храма. Певцы же от лица всех поют: *«О имени Господни»*, то есть выйдем с благословения Господнего. Тогда священник, выйдя за амвон, читает молитву, в которой просит Господа благословить и спасти нас и не оставить Своими милостями всех уповающих на него, а певцы после этой заамвонной молитвы троекратно поют: *«Буди имя Господне благословенно от нынѣ и до вѣка»*. Священник, благословляя народ, произносит: *«Благословеніе Господне на васъ, Того богатію и человеко-*

любимъ, всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ» и потомъ возглашаетъ: «Слава Тебѣ, Христе Боже, упование наше, слава Тебѣ!» Обратясь же к народу и осенивъ себя крестнымъ знаменіемъ,— что делаютъ и все молящіеся,— говоритъ: «Христосъ, истинный Богъ нашъ, молитвами пречистыя Своея Матере... и всѣхъ Святыхъ, помилуетъ и спасетъ насъ, яко благо и человеколюбецъ» и после этого делаетъ поклонъ народу, на что все отвѣчаютъ ему тоже поклономъ. Певчіе поютъ моление Господу, чтобы Он сохранилъ «на многая лѣта» благочестивѣйшаго Государя и весь Царствующій Дом, Св. Синод, местного архіерея и всехъ православныхъ христіан. Этимъ литургія оканчивается, и все съ благоговѣніемъ выходятъ изъ храма, мирно расходясь по домамъ своимъ.

О литургии св. Василия Великаго.

Литургія Василия Великаго совершается десять разъ въ году: наканунѣ праздниковъ Рождества Христова и Крещенія Господня (если же канунъ этихъ праздниковъ придется въ субботу или воскресенье, тогда эта литургія совершается въ самые праздники, а наканунѣ ихъ бываетъ литургія Іоанна Златоуста), въ день памяти св. Василия Великаго 1-го января, въ первые пять воскресныхъ дней Великаго поста, въ четвергъ и субботу Страстной недѣли. Она отличается отъ литургии Іоанна Златоуста только тѣмъ, что молитвы, которые священникъ про себя читаетъ при освященіи Даровъ, длиннее, а потому и пѣніе бываетъ тогда гораздо протяжнее (начиная съ «милость мира» до «и всѣхъ, и вся»); кроме того, предъ словами Иисуса Христа «примите, ядите»... и «пійте отъ нея вси»... священникъ произноситъ еще слова: «Дадѣ святымъ Своимъ ученикомъ и апостоломъ, рекъ»; вместо же песни «Достойно естъ»... поется особая пѣснь въ честь Божіей Матери: «О Тебѣ радуется, благодатная, всякая тварь».

О литургии Пржедосвященныхъ Даровъ.

В Великомъ посту литургія въ полномъ своемъ видѣ совершается только по субботамъ и воскресеньямъ, а въ остальные дни, какъ дни сокрушенія и раскаянія въ грѣхахъ, это торжественное богослуженіе отменяется, а вместо него служатся только «часы», 3-й, 6-й и 9-й, къ которымъ присоединяется «вечерня», причемъ въ концѣ каждаго часа, а равно и вечерни священникъ произноситъ молитву Ефрема Сирина, сопровождая ее земными поклонами вместе съ молящимися. Но, чтобы желающимъ можно было причаститься св. Таинъ и раньше субботы, для этого по средамъ и пятницамъ Великаго поста, а также въ первые три дня Страстной недѣли положено после «часовъ» совершать литургію Пржедосвященныхъ Даровъ. Эта литургія на-

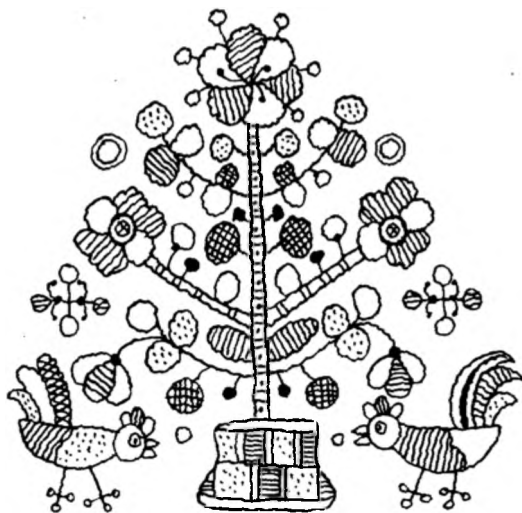
зывается так потому, что при совершении ее не освящают даров, а причащаются Дарами, уже освященными прежде во время воскресной литургии. Для этого в воскресенье, кроме агнца, назначенного для освящения и причащения в этот день, одновременно освящаются еще другие агнцы для литургий Преждеосвященных Даров в наступающую седмицу, причем эти агнцы напоются кровью Христовою и полагаются в дарохранительницу. Когда же священник начнет совершать такую литургию, то он берет оттуда освященный агнец, напоенный кровью Господнею, и, положив его на дискос, переносит на жертвенник, а потом, влив в чашу вино с водой и поставив на дискос звездицу, покрывает их, как обычно, покровцами и воздухом. В чашу вливается при этом вино с водой не для освящения, а для удобнейшего преподания св. Даров.

«Литургия Преждеосвященных Даров» совершается вслед за прочтением «часов» и пачинается «вечерней». Эта вечерня имеет некоторые особенности. Так, она начинается литургийным возгласом священника *«благословенно царство»*... после чего псалом *«Благослови, душе моя, Господа»* не поется, а читается при закрытых царских вратах, как это обычно бывает на будничной вечерне; за «вечерним входом» и пением «Свѣте тихій» следует чтение двух паремий, между которыми царские врата отворяются, и священник, после слов *«премудрость прости»*, осеняет преклонившийся до земли народ возженною свечою с кадилом, возглашая: *«Свѣтъ Христовъ просвѣщаетъ всѣхъ!»* По прочтении второй паремии снова отворяются царские врата, и певцы неспешно и с особым умилением поют: *«Да исправится молитва моя»* — со стихами *«Господи, воззвахъ къ Тебѣ, услыши мя»*, *«Положи, Господи, охранение (то есть охрану) устамъ моимъ и дверь ограждения о устнѣхъ моихъ»*, то есть огради двери уст моих. *«Не уклони сердце мое въ словеса лукавствія»*, то есть не дай уклониться сердцу моему к хитрости, *«непещевати ниби о грѣсѣхъ»*, то есть придумывать оправдания для своих грехов. При этом пении все молящиеся стоят на коленях. Затем вечерня оканчивается молитвою Ефрема Сирина. В первые три дня Страстной недели после этой молитвы читается евангелие, а в другое время сряду же за ней бывают те ектении, которые на полной литургии произносятся вслед за чтением евангелия, пред «великим входом», и в которых заключаются моления о живых, усопших и об оглашенных с повелением оглашенным выйти из храма. По окончании этих ектений, вместо «Херувимской песни», поют: *«Нынь силы небесныя съ нами невидимо служатъ: се бо входитъ Царь славы, се жертва тайная совершена, доринѣтся. Вѣрою и любовію приступимъ, да причастицы жизни вѣчныя будемъ. Аллилуѳа»*. [*Силы небесныя*—ангелы; *се бо входитъ*—потому что вот входит. Царем славы здесь называется Иисус Христос, Которого мы как бы видим во святых Дарах. *Жертва тайная*—жертва таинственная (так называются тело и кровь Христовы); *совершена*—совершенная, то есть освященная (потому что при пении этой песни переносятся на престол уже преждеосвященные дары); *доринѣтся*—с торжеством переносится. *Вѣрою и любовію приступимъ*—с верою и

с любовью приступим (то есть приступим к причащению святых Таин): *на причащеницы жизни вѣчныя будемъ*—чтобы нам быть участниками жизни вечной. *Аллилуia*—хвала Богу!]). Посредине этой песни на слове «*дориносится*» пение прерывается и совершается перенесение преждеосвященных Даров с жертвенника на престол, причем все преклоняются до земли, а священник в предшествии священосца и диакона с кадилом, выйдя чрез северные двери на солею с дискосом на голове и чашею в руке, вносит их в алтарь и ставит на антиминсе, заранее раскрытом на престоле. После этого все встают и царские врата затворяются, а певчие доканчивают прерванное пение. Так как на этой литургии не бывает освящения даров, то поэтому из полной литургии пропускается все, что имеет отношение к этому священнодействию, а сряду после произнесения священником молитвы Ефрема Сирина совершаются только три последние части «литургии верных», то есть «приготовление верующих к причащению», «причащение священнослужителей и мирян» и «благодарение за причащение с окончанием литургии», и вритом они совершаются в обычном порядке, какой вообще бывает на литургиях Иоанна Златоуста и Василия Великого.

Продолжение следует

Диалектизмы в фамилиях



В. Ф. Житников,
кандидат филологических наук

Продолжая тему, начатую в № 1 за 1989 год, рассмотрим некоторые фамилии, образованные от прозвищ, в основе которых лежат диалектные слова.

Верещагин. Фамилия широко распространена на Руси; как и предшествующее ей прозвище, зафиксирована с конца XV века: *Верещага* Блеклого, конец XV века, Углич; *Верещага*, крестьянин, 1510, Новгород; *Верещагин* Якуня, крестьянин суздальский, 1579. Отмечены несколько *Верещиных* в XVI веке на поместьях в Прославле. Диалектное слово *верещага*, давшее начало прозвищу, имеет много значений; 1) в пермских, псковских, новгородских, олонечких и некоторых других говорах это – «яичница»; 2) в смоленских говорах это – «похлебка с поджаренной свиной»; 3) в астраханских – «жареный судак»; в других говорах это слово употребляется в переносных значениях: так, в олонечких и рязанских говорах это – «чрезмерно разговорчивый человек, болтун»; в рязанских и нижегородских – «плакса» или «брюзга», «ворчун»; «хлопотливый человек» и т. д. Как видно из приведенных примеров, слово *верещага* встре

чается и в центральных, и в северных, и в южных говорах России. Перенос значений таков: кушанье — яичница или поджарка, «верещащая» на сковороде — человек (болтун, ворчун, плакса).

Воронков. От прозвища *Воронѣк*. *Воронѣ*, восходит к соответствующим словам: *воронок*. *воронко* — «конь вороной масти» — во владимирских, воронежских, тульских, уральских, сибирских говорах; так могли прозвать человека с черными волосами. Во владимирских говорах *воронѣм* называют также большого черного стрижа или ласточку; здесь возможен перенос названия на человека. Прозвище и образованная от него фамилия отмечены с первой половины XVI века: Федор Андреевич Салтыков *Воронко* (XVI в.); Иван Иванов сын *Воронков*, новгородский дворовладелец, 1568; *Воронко*, поручик в Гомеле, 1663.

Востряков, Вбстриков, Вострѣтин, Вострецов. Все эти фамилии восходят к корню *-остр-* (с приставным, или протетическим, *в*: *востр-*). Диалектные данные таковы: *востряк* — в архангельских, пермских, томских говорах — «острый конец чего-либо, острие»; «предмет с острыми краями (камень, заостренная палка)»; в псковских, новгородских, тверских, ярославских, вологодских говорах — «бойкий, проворный, задорный человек»; «догадливый, расторопный, острый, переимчивый во всем»; *вострик* — «острие ножа»; *востротѣ*, *вострѣц* — «ловкий, бойкий человек»; «Эта девка — такой вострец, не пропадет» и т. д.

Все приведенные выше диалектные слова имеют протетическое *в*, а в древнерусских фамилиях оно чаще всего отсутствует: Давид *Острецов*, крестьянин, Белоозеро, 1502; Алексей Савлуков *Острецов*, Новгород, 1608; *Остряков* Истома Федоров сын, ямщик, Тотма, 1546; *Остренев* Юрий, городской приказчик, Тула 1612. Правда, в некоторых случаях такое *в* наблюдается: *Вострая* Сабля Василий, помещик, XVI в.; *Вострой* Артемий, крестьянин, середина XV в. и т. д.; по-видимому, протетическое *в* было факультативным.

Голиков. От прозвища *Голик*, восходящего к слову *голик*, имеющему значения: 1) «веник с обитыми листьями», «голые прутья, связанные в пучок»; известно во многих говорах; 2) «неимуший человек», «бедняк» — в самарских, тверских и др. Итак, вначале «веник из голых прутьев», а затем — «бедный человек». Отметим, что в древнерусском языке существовало слово *голикъ* — «веник». Прозвище и следовавшая за ним фамилия отмечены с XVI века: *Голиков* Жихарь Дмитриевич, Звенигород, 1540; Бажен Яковлев сын *Голиков*, отчинник, 1559; *Голик* Мартинко, крестьянин в Новоторжском погосте, 1696.

Гомзиков, Гомзяков. Очень сходные фамилии, но происхождение их разное. В древнерусском языке был глагол *гомзити* (из *гъмъзити*) — «двигаться», «шевелиться», оставшийся в наследство русским диалектам в виде *гомозиться* — «возиться», «беспокойно шевелиться», «вертеться», а также «кишеть», «толкаться в куче, как комары, муравьи»; *гомозень* — «беспокойный, суетливый человек»; *гомозун* — «непоседа»; *гомзик* — «шалун», «баловник» и т. д.; по происхождению эти слова связаны с др.-русск.

гъмыжь < *gŭmŭzjos – «насекомое». По-видимому, фамилию *Гомзи́ков* < *Гомзик* – «шалун», «непоседа» следует связать с корнем этого слова.

Что же касается фамилии *Гомзяков*, то она скорее всего связывается с другим диалектным словом: *гомзя́к* – «накопитель», «стяжатель», «скопидом». В диалектах существует глагол *гамзѣть*, *гомзѣть* – «беречь», «копить»; его производные *гамзѣ*, *гамзѣля* – «кошелек». Прозвище *Гомзяк* и последовавшая за ним фамилия *Гомзяков* отмечены в XVI–XVII веках: *Гомзяк* Кутунов, митрополичий носельский, Владимир, 1506, 1518; *Гомзяков* Иван, рязанский помещик, 1616; Давид и Михаил Яковлеви́чи *Гомзяковы*, помещики, Коломна, 1577. Таким образом, можно предположить существование двух разных фамилий, из которых лишь одна (*Гомзяков*) зафиксирована в памятниках древнерусской письменности.

Гуляев. От прозвища *Гуляй*, восходящего к диалектному *гуляй* – «человек иррадный, шатун, лентяй, гуляющий». В древнерусском языке было слово *гуляй* – «разносчик»: «...и гуляев с питиемъ посылати не велено», – отмечает памятник 1690 года. Прозвище и фамилия отмечены в XVII веке: *Гуляй* Золотарев, дворцовый дьяк, 1612; Тимофей *Гуляев*, посадский человек, Вязьма, 1626; *Гуляев* Денис Михайлов сын, чердынский крестьянин, 1605.

Гу́нин. Фамилия образована от прозвища *Гуня*, а оно – от диалектного *гүня* – 1) «худая, ветхая, истасканная одежда»; известно в орловских, курских, тульских, пензенских, саратовских, самарских, владимирских, нижегородских, архангельских, вологодских, олонекских, витских, пермских и других говорах; 2) «неряха», «оборванец», «неопрятный человек»; известно в вологодских, новгородских, пензенских, рязанских говорах; 3) «вялый», «медлительный», «нерешительный человек»; распространено в ярославских, вологодских, новгородских, пермских, архангельских и других говорах. Видимо, прозвище дано по второму или третьему значению. Слово *гуня* (*гунька*) было известно и в Древней Руси. В «Повести о Горе Злочастии» читаем, как «добрый молодец» был обобран ложными друзьями: «Скинул он платье гостинное, надевал он *гуньку* кабацкую». В данном тексте слово *гунька* означает рубище, ветхую, поношенную одежду. Слово *гуня* – общеславянское, оно имеется в словарном составе всех славянских языков и восходит к древнему иранскому *gaunja* – «цветная» (ткань). Произошло интересное «ухудшение» значения этого слова: первоначально «цветная ворсистая персидская ткань, вывозимая в другие страны для шитья нарядной, праздничной одежды», затем просто «шерстяная ткань и одежда из нее», и, наконец, «ветхая, поношенная одежда», «рубище».

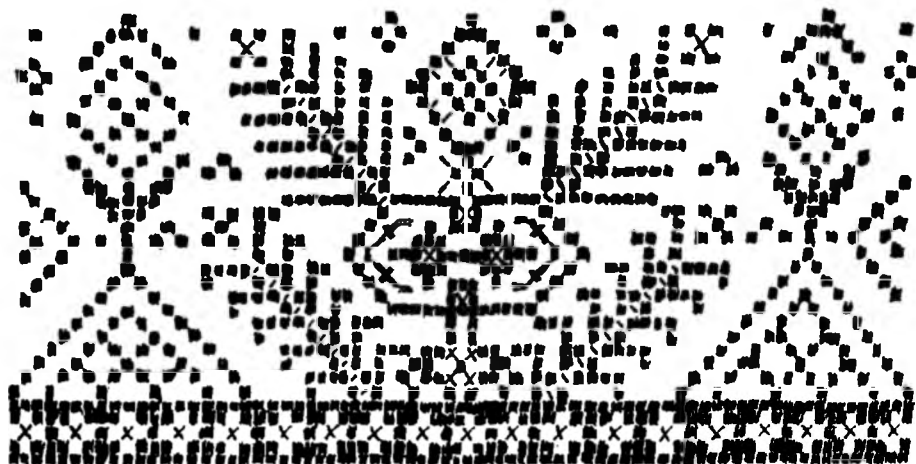
Деря́гин. От прозвища *Деряга*, восходит к слову *деря́га* – 1) «то, что скребет, дерет»; 2) «растение плаун, ликоподий»; 3) «плакса» (витск.); 4) «вздорный, сварливый человек», «тот, кто громко ругается» (вятск., новгородск.); 5) «несговорчивый человек», «драчун» (пермск.) и т. д. Этой фамилии родственна другая – *Дерябин*, связанная через соответствующее прозвище со словом *деря́ба* – «плаун», «ликоподий» (и др. знач., как у слова *деряга*); у них общий корень *-дер-*, тот же, что в глаголе *деру*.

В памятниках XVI–XVII веков отмечены: князь Иван Андреевич *Деряби* Шуйский, середина XVI века; Давид Корнильевич *Дерябин*, подьячий, затем дьяк, 1638–1675. Заметим, что, например, на Урале встречаются обе фамилии – и *Дерябин*, и *Дерягин*.

Добрынин. Фамилия происходит от мужского личного имени *Добрыня*, восходящего к др.-русск. *добрыня*, *добрыни* – 1) «добро», «доброе отношение», 2) «добродетель». Прозвище *Добрыня* (перешедшее с течением времени в личное имя) могло быть дано человеку доброму, прямому и простоватому (по замечанию В. И. Даля, «нехитроственному, нескрытному и доброжелательному»). Это прозвище превратилось в имя сказочного богатыря, у которого был реальный прототип: *Добрыней* звали дядю великого князя Владимира Святославича, и это отмечено в летописях под 970–986 годами. Значит, *Добрыня* было древним языческим именем на Руси; было и отчество *Добрынич*: Константин Добрынич, новгородский посадник, 1018. Фамилия *Добрынин* была широко распространенной еще в XVI–XVII веках, например: Иван *Добрынин*, крестьянин, Рязань, 1530; Кузьма Степанович *Добрынин*, 1664. Новгород и т. д.

Дударев, *Дудоров*. Сходные по звучанию фамилии, но родственны ли они по корню? *Дударев* происходит от прозвища *Дударь*, восходящего к диалектному *дударь* – «музыкант, играющий на дудке, свирели, волынке»; слово известно в курских, смоленских, новгородских и других говорах, большей частью в западных и южных

Челябинск



Чистое поле — дом — человек

В. Г. Радунский

В народной лирике описание какого-либо события нередко начинается с расширенной картины места действия. Предположим, в первых строках песни говорится о долине с ее раздольем, потом — ближе: о рощице, выросшей при долине, потом — о березе, стоящей в этой рощице, и, наконец, о главном: о том, что под этой березой парень беседует с девушкой. Или другой сюжет: сначала упомянута горница, в ней находятся столы, и только затем — о девице, сидящей за одним из этих столов.

Песня начинается с описания широкого пространства и постепенно сужает круг, пока не достигнет центра — героя, которому она посвящена.

Фольклорист Б. М. Соколов, первый обративший внимание на этот художественный прием, назвал его «постепенным сужением образов».

Люшеньки, да все во горнице,
Люшеньки, да все во светлице.
Люшеньки, да все стоят столы,
Люшеньки, да все дубовые.
Люшеньки, да за столом сидит,
Люшеньки, да красна девица

(Лирика русской свадьбы. Сост. Н. П. Колпакова. Л., 1973. № 79. С. 43).

Часто такой прием используется при описании жилища. Иногда при этом следует простое перечисление изображаемых объектов: улицы, двора, горницы, светлицы, столов и т. д. Но в большинстве случаев это показ событий с последовательной сменой места действия: «добрые люди» с

чала зашли-заехали во двор, потом — в терем, затем — в светлицу и т. д. «Начальная точка отсчета» может находиться довольно далеко, за пределами деревни. Вот, невеста, описывая дорогу, на которой она должна встретить свою сестру, начинает рассказ: «среди-то поля чистого», затем продолжает: «середь улицы проезжия, середь мостика калинова, середь лестницы брущатой...» Далее невеста сообщает, что должна положить руку на скабу, открыть дверь на пята и посадить гостью «в честно место под окошечко (...) осередь да светлы светлицы» (Шейн П. В. Великорусс в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. СПб., 1890. Т. 1. Вып. II. № 1355. С. 401; далее — Шейн, порядковый номер и стр.).

Описание может разворачиваться и в обратном направлении, как в примере прощания невесты с родительским домом: «Прощай, ты наш высок терем с широким подворьицем! Прощайте, сосед-соседушка! Прощай, широкая улица! Прощайте, голубушки-подруженьки!» (Шейн. № 2139 С. 635).

Невеста удаляется от родного жилища и перед ней открываются все более широкие картины:

Уж вы, милые-то мои подруженьки,
Выведите меня на белу зарю.
С новой горницы в новы сени,
С новых-то селей на красно крыльцо;
Со красна-то крыльца на широкий двор,
Со широкого-то двора на широку улицу!

(Русские свадебные песни Сибири. Новосибирск, 1979. № 247. С. 173; далее Сиб. и стр.). Здесь перед нами по существу предстает «ступенчатое расширение образов».

Во всех приведенных фольклорных текстах мы наблюдали совмещение описания внешнего вида дома и его интерьера. Это совмещение встречается и в приговорах свадебного дружки: «У вас, сватушка, в широком дворе, во высоком дому, во новой горнице поставлены столики, на столиках постланы скатерти браны, за столиками сидят гости званы» (Шейн. № 2139 С. 635).

Местоположение гостей определяется не только горницей, но и домом, где находится горница, и двором, на котором дом стоит. Как будто наружная сторона жилища и его внутренняя часть предстают взору одновременно. При этом описание в песне может начинаться не со двора, но и с улицы или даже с чистого поля («Во чистом во поле, на крутой на горе, на зеленом на лужку, возле речушки, на желтом на песку, чей-то двор стоит, чей высок терем? (...) Со крытым красным крыльцом, со косячатым окном, со хрустальным со стеклом. А во том терему есть кровать тесова» и т. д. (Шейн. № 1561. С. 455).

Совмещение нескольких планов, когда внешний вид жилища и его внутреннее пространство открыты обозрению одновременно, да еще с окружающей обстановкой и природой, вызывает ассоциации с народным и древнерусским изобразительным искусством. Так, на северо-русских прил-

ках изображены и посиделки внутри дома, и его крыша, и праздничный выезд на лошадях. Этот же прием одновременного показа наружной части дома и его интерьера мы найдем в миниатюрах Радзивилловской летописи, Жития Сергия Радонежского, иконах с сюжетами Рождества Богородицы или Иоанна Предтечи и других памятниках средневековой живописи, не только русской, но и западноевропейской и восточной.

При таком способе совмещенного описания и изображения человек и природа составляют неразрывное единство. Каждый конкретный случай, каждая человеческая коллизия становится составной частью природы, всего мироздания.

Ты свети, светел месяц,
Во всю ночьку темную,
Во всю ночь освещаю
Над моей светлой светлицей.
Над столовою горницей,
Над моей девьей красотою. (Шейн. № 1460. С. 432)

Сопоставление темной осенней ночи, светлого месяца и светлой светлицы создают единую картину с четким распределением «света и тени», картину, в которой все детали важны и необходимы.

Но как бы ни была длинна цепочка приема постепенного сужения образов, на конце ее обязательно будет человек. В фольклорном сознании жилище и человек «вписываются» в общую космическую картину. Внешний мир — дом — человек и его труд составляют звенья одной цепи.

Ты звезда ли моя звездушка.
Высоко звезда восходила
Выше леса, выше темнова,
Выше садика зеленова,
Выше терема високова.
Как во этом ли во тереме,
Там сидела красна девушка,
Она шила ковер золота <...> (Шейн. № 1851. С. 558)

В свое время искусствовед и литературовед А. И. Некрасов отмечал, что клеть, или сруб (в данном контексте — «созданное из венцов строение») в своем объеме воспринимается как нечто решительно отрезанное от окружающего мира, а не открывающееся в него (Некрасов А. И. Русское народное искусство. М., 1924. С. 38, 56—57). Такая характеристика верна с точки зрения традиционной русской строительной практики. В то же время русские постройки с их особой замкнутостью, крепкими стенами и плотно пригнанными закрывающимися небольшими дверями и окнами, создающими впечатление отгороженности от внешней среды, свидетельствуют о неразрывной связи ее строителя и обитателя с окружающей природой, как правило суровой, с зимними вьюгами, осенними ветрами, летними проливными дождями. Чтобы выжить в этих условиях, надо было хорошо знать повадки капризной погоды, условия местного ландшафта.

шафта и уметь приспособиться к ним. Добротность строения, тепло в избе зимой и прохлада летом, способность выдерживать любые ветры и выюги делали человека независимым от внешних сил и вместе с тем сближали его с окружающей природой. Идеальное жилище – это «новое», что является в фольклоре синонимом *крепкому, добротному*, а следовательно, защищенному от любой непогоды.

Из нового терема, новой горницы обязательно должен открываться красивый вид. «Прекрасные» окошечки – это те, из которых открывается широкая панорама:

Сударыня мой, маменька!
Ты построй мне нов *высок терем*
С тремя окошками,
С окошками прекрасными
Как первое окошечко
На чистое поле смотреть.
А второе окошечко
На зеленый сад смотреть.
А третье окошечко
На синее море смотреть. (Шейн. № 1928. С. 586)

Место у переднего, косячатого окна – традиционное место девицы в народных песнях. Здесь, глядя на «чистое поле» или «зеленый сад», она работает, грустит, думает о суженом. Это место наиболее освещено и соседствует с красным углом, самым главным и живописным местом в доме.

Пейзаж за окном здесь как бы входит в интерьер, становится его частью, дополняя своей красотой его убранство.

Природа, открывающаяся из окна, играет определенную роль в судьбе человека, с нею связаны его чувства и переживания. Предстоящая замужняя жизнь рисуется обычно девушке в печальных тонах. Ее грустное настроение ищет себе выхода. И песня рассказывает, как девица пойдет в новую горницу, сядет, пригорюнится у окна, будет проливать слезы горьки и глядеть «в чисто поле далеко» (Шейн. № 2273. С. 694). И вновь дом и окружающий его ландшафт воспринимаются как единое целое с человеком. И чем выше «высок» терем, тем ближе его обитатель к явлениям природы, находящимся за стенами дома («Я в высоком терему сижу, я далече по заре слышу как сокол лебедушку кличет» – Шейн. № 1956. С. 591).

Человек вступает в связь с природой уже в самом акте сооружения дома. Традиционное фольклорное сознание ясно ощущает единство жилища с окружающей природой еще и потому, что для него те материалы, из которых это жилище построено, никогда не лишаются своей изначальной «первородной» сущности. Бревна избяного сруба в своей округлой удлиненной форме не теряют окончательного внешнего сходства со стволом дерева.

Крестьянский деревянный дом всем своим видом как бы указывает на связь человека с природой, на то, что человек, являясь в природу,

вносит своим трудом нечто новое, непохожее на природную первозданность, но не порывающее с ней окончательно. Традиционная русская деревня своей рукотворностью противостоит «нерукотворному» ландшафту, контрастируя с ним своими «разумными» «человеческими» формами, и в то же время неотделима от него. Нерасторжимость этой связи крестьянство ясно осознавало. Для деревенского плотника бревна, из которых сложен дом, не обезличенный «стройматериал», а результат приложения своего труда к дереву, и не просто дереву, а к имеющей свое определенное название и свои определенные свойства породе. И эта изначальная «природность» материала никогда не уходила из крестьянского сознания, особенно же при описании собственного жилища, в котором как бы встретились природа, человек и его труд. Вот как это отразилось в песне.

Свет моя светлая светлица
Столовая новая горница!
Во сыром-то бору
Лесы рѣнены.
На добрых конях
Лесы вожены.
На прекрасном-то месте
Светлица строена.
Прекрасными окошками
Во зеленый сад,
Широкими воротами
Во чисто поле (Шейн, № 2475, С. 770)

Или:

Уж как новая моя горенка,
Во сыром бору она валена,
По реке у нис она спущена,
На светлом месте она срублена,
На веселом месте поставлена <...>

(Песни, собранные П. В. Киреевским. Новая серия. М., 1911. Вып. 1 № 133. С. 52).

В обоих текстах рассказ о том, как строилась горенка, служит свидетельством ее добрых качеств, которые определяются и большим трудом, затраченным на ее создание, и веселым светлым местом, где она стоит. Сам процесс строительства, описанный поэтически, с воспоминаниями о сыром боре, реке, добрых конях, как бы доказывает, что горенка хороша.

Как в фольклорном приеме «постепенного сужения образов» главным, незаменимым выступает конечное звено — герой песни, так центральная, главная фигура дома — человек.

Существовала русская пословица: «Из пустой хоромины либо сова, либо сова, либо сам сатана» (Пословицы, поговорки, загадки в рукописных сборниках XVIII–XX веков. М.-Л., 1961. С. 28). Хоромина (изба) не должна стоять пустой — она выстроена для людей. Строители, каждый раз, призвав свой собственный опыт и опыт многих предыдущих поколений, стремились к тому, чтобы людям было удобно жить в построенном

ими доме. Учитывалось все. Например, большое значение придавалось тому, как будет падать свет из окна, когда жепщины сядут ткать и прясть. В зависимости от этого были избы-«пряхи» и избы-«непряхи». В доме, построенном в соответствии с вековыми традициями, эргономика и эстетика не противостояли друг другу, а естественно сочетались. Красивой, в первую очередь, считалась та изба, где было удобно работать и отдыхать. Ее планировка и обстановка учитывали в первую очередь удобства человека. В избе должно быть свободно и просторно. Это было одновременно и эргономическое требование, и эстетическое. Недаром во многих песнях поется, как герой (героиня) «похаживает» и даже «погуливает» во внутренних покоях.

Описание избы в произведениях фольклора никогда не бывает самостоятельным. Оно всегда подчинено повествованию о человеке, о его настроениях, мыслях, поступках. Наиболее частые ситуации – застолье и работа:

Вы садитесь, подруженьки,
Круг стола да на лавочки!
Ты стели-ка, родна матушка,
Скатерти-то бранья,
Станови-ка, родна матушка,
Питья, яства сахарныя,
Угощай, моя родимая. (Шейн. № 1442. С. 426)

Описание труда иногда превращается в картину, полную лиризма и поэзии: «Я вставала, молодёшенька, / По утру, равным-равёшенько, / Умы валась, молодёшенька, / Я водицею ключевою. / Утиралась, молодёшенька, / Тонким белым полотенечком. / Я брала же, молодёшенька, / Свои точеные пялечки, / Я садилась, молодёшенька, / Под переднее окошечко» (Шейн. № 1382. С. 411).

Человек в фольклоре воспринимается как самое главное украшение жилища: «Уж чем ты, моя светлица (...) разукрашена? Как во той-то светлице стоят гусли самогудые, за гуслими сидит добрый молодец, он играет в гусли<...>» (Сиб, 59). Благодаря своей одежде он вносил в интерьер яркость вытканного орнамента, многоцветье вышивки, живописность набивной ткани.

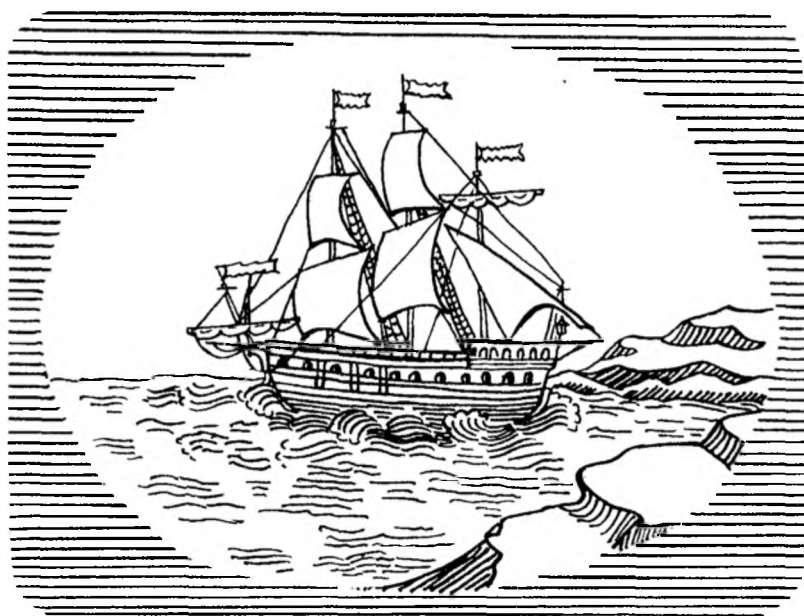
Народное сознание не отделяло костюм от его носителя. В песнях постоянно красота человека раскрывается через описание его одежды: «Наша (невеста.- В. Р.) хорошенькая, паша пригоженькая! – рубашка на ей кисейная, ферези на ей шелковые, сапожки у ей сафьяновые, чулочки у ей бумажные, сережки у ей жемчужные, браслетка у ей серебряна, платочек на ней, как жар, горит!» (Круглов Ю. Г. Русские свадебные песни. М., 1978. С. 132).

Как в песне все окружающие героя предметы это дополнительные аксессуары для раскрытия его переживаний и надежд, так и в народной архитектуре простота убранства домашнего обихода, гладкая поверхность бревенчатых стен, ничем не заставленных и не задрапированных, помо-

гают выделить «главное действующее лицо» — обитателя жилища. Теплая светлая медно-золотистая текстура сосновых бревен хотя и красивый, но нейтральный фон, не поглощающий в себя человека, а, наоборот, «подающий» его, высвечивающий его из всего окружения, как наиболее важное. Человек собою как бы оживлял всю постройку, вносил в нее смысл и содержание, составлял ее душу.

Гуманизм народной эстетики, в частности, заключается в том, что человек всегда оказывается центральной фигурой и в поле, и на улице, и в интерьере. Даже в единении с природой он не растворяется в ней до конца, а всегда остается ее венцом, самой значительной ступенью в иерархии ценностей.





АРХИПЕЛАГ

А. В. Барандеев,
кандидат филологических наук

В обширном гастрономическом реестре великолепного обеда, который дает главный герой романа А. Дюма «Граф Монте-Кристо» среди прочих значатся «все вина Архипелага, Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее...». Почему здесь употреблено слово *Архипелаг*? Каковы его значения в русском языке?

Во всех словарях современного русского языка и словарях иностранных слов дается сходное этимологическое объяснение: гр. *arché* – «начало, главенство» и *pélagos* – «море». Согласно этим источникам, так в древнегреческом языке называлось «главное море» – Эгейское море с множеством расположенных на нем островов.

Однако парадокс заключается в том, что в древнегреческом языке форма *Archipelagos* нигде не зафиксирована, нет ее и в «Греческо-русском словаре» А. Д. Вейсмана (СПб., 1899), и в «Древнегреческо-русском словаре» И. Х. Дворецкого (т. I. М., 1958). Название самого Эгейского моря

в древнегреческом языке известно в ином виде – Aigaion pélagos (наряду с Aigaios pōntos), поэтому остается неясным, как из этой формы могло получиться название Archipelagos?

Наиболее раннюю фиксацию слова *Архипелаг* в латинизированной форме *Архипелагум* и в составе названия *Архипелаго море* обнаруживаем в компилятивной Космографии 1670 г. (СПб., 1878–1881) при описании бассейна Средиземного моря: «В западной стране называли архипелагумъ [Средиземное море] что то море, къ егеньскому морю ровняется, потому что на томъ море, також де острова, цикладибуть, спорадись, и иными многими острова наполнено, а по италианску имянется архипелаго море...». Действительно, в эпоху позднего средневековья в географических источниках имя собственное *Архипелаг* обозначало Эгейское море, т. е. его акваторию с многочисленными островами, а затем по аналогии – акватории такого рода и других морей (Средиземного, Индийского), и даже расположенные вблизи них местности: «Архипелагус, называется страна, в которой много островов в близости обретається, такие суть на индийском море [океане] между азиєю и америкю» (Земноводнаго круга краткое описание. М., 1719). Теперь становится понятным, что в романе А. Дюма *Архипелагом* называется собственно *Греческий архипелаг*, т. е. многочисленные острова Эгейского моря, жители которых были известны как искусные виноделы. В этом значении название *Архипелаг* было широко распространено в русской географической литературе начала XVIII в.

Для определения этимологии слова особенно важным представляется указание Космографии 1670 г. на то, что «архипелаго море» – это итальянское название Эгейского моря. В связи с этим можно предположить посредство итальянского языка при возникновении и закреплении на русской почве формы *Архипелаг*.

В итальянском языке Arcipelago как название Эгейского моря употреблялось венецианскими мореплавателями уже в XIII в. По-видимому, эта форма названия возникла в результате неточной передачи гр. Aigaion pélagos, ошибочно осмысленного в виде сложения итальянских компонентов arci – «главный, основной» (по ассоциации с гр. archē – «начало, главенство: старший, главный») и pélago – «открытое море». Такую квалификацию итальянской форме названия последовательно дают все отечественные энциклопедические издания и словари географических терминов XIX–XX в. Например, в «Энциклопедическом словаре» Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (т. 2. СПб., 1894) читаем: «Это название явилось одновременно с началом венецианского господства в греческих водах, но оно даже у самих греков не в употреблении. На него смотрят как на искажение». Ложноэтимологическому осмыслению названия *Архипелаг* могло способствовать и влияние обширной группы греческих слов с «реальной» приставкой *архи-* – «старший, главный»: *архидьякон*, *архимандрит* и т. п.

Таким образом, становится ясно, что слово *Архипелаг*, заимствованное русским языком в конце XVII в., следует возводить к итальянскому языку-посреднику, который фактически является языком источником. В связи

с этим указание на немецкое происхождение термина, встречающееся в некоторых словарях, нужно признать ошибочным.

Параллельное бытование в русской письменности XVII–XVIII вв. латинизированных форм *Архипелагум*, *Архипелагус* объясняется тем, что первоначально это слово закрепилось в русском языке через переводы космографий – западноевропейских географических сочинений. А эти переводы осуществлялись согласно принятой в то время традиции главным образом с ученого языка средневековой Европы – латинского. Такое употребление указанных форм наряду с *Аршипелаг* и *Архипелаг* (а на картах даже *Архипеллаах*) прослеживается вплоть до середины XVIII в., когда в языке русской географической науки название стабилизировалось как Архипелаг. Именно в этой форме оно было впервые зафиксировано «Словарем российским...» И. И. Нордстета (ч. I. СПб., 1780) в значении «Эгейское или Греческое море».

В течение последующего времени имя собственное *Архипелаг* в первичном значении «акватория Эгейского и других морей с множеством островов» постепенно выходит из употребления. У слова появляется обобщенно-нарицательное значение – «совокупность морских островов, расположенных вблизи друг от друга», способствующее его превращению в географический термин – *архипелаг*. Интересно, что примеры нарицательного употребления слова, синонимически сопоставленного со словами *полк*, *собрание* островов, встречаются уже в начале XVIII в.: «Наречем именем генералным то есть общим полк или собрание островов, понеже приличного наречения не имеем. Тракт моря, на котором острова сия лежат, нарицается архипелаг» (География генеральная. М., 1718). В «Толковом словаре живого великорусского языка» В. И. Даля (т. I. М., 1955) термин трактуется как «купа островов, сборище многих островов в одной общей черте; многоостровье, соостровье, островняк, островник», а генетически первичное значение слова как имени собственного помещено на втором месте: «восточная, островитая часть Средиземного моря».

В современной географии это первичное значение справедливо считается устаревшим, что отражено в географических энциклопедиях, словарях терминов и справочниках (см., например, Словарь общегеографических терминов. Под ред. Л. Д. Стампа. Т. I. М., 1975). Напротив, термин *архипелаг* – «совокупность морских островов» прочно вошел в научный обиход и употребляется в мировой географической науке: ср. англ. *archipelago*, нем. *Archipel*, фр. *archipel*, ит. *arcipelago*. Данный термин – вполне конкретное обозначение соответствующего научного понятия, отражающего степень изученности самой географической реальности. В строгом толковании к этому термину обычно указывается, что острова, входящие в архипелаг, имеют общее основание, одинаковое происхождение и сходное геологическое строение. В качестве примеров архипелагов материкового, кораллового и вулканического происхождения приводят соответственно *Канадский Арктический архипелаг*, *Маршалловы острова*, *Гавайские острова*.

Употребление географического термина *архипелаг* известно и за пре-

делами узкопрофессиональной сферы. Об этом может свидетельствовать хотя бы удачный факт его образно-метафорического осмысления в названии известного произведения А. И. Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». Такая форма названия не только запоминается фонетически, но и хорошо согласуется с новым и старым значениями термина, вызывая у читателя ассоциации по линии реальной множественности объектов ГУЛАГа, разбросанных как бы на обширном «морском пространстве» страны архипелага - «государства в государстве».

История слова *архипелаг* убедительно доказывает необходимость внесения соответствующих уточнений в этимологические справки, которыми обычно сопровождается слово в современных толковых словарях русского языка и словарях иностранных слов

О хомути, дышлах и рельсовом экипаже

Е. М. Мироненко

11 ноября 1837 года колокольчики на «сухопутных пароходах» возвещали об открытии рельсовой дороги между Петербургом и Царским Селом. Этот день по праву можно считать днем рождения русской железной дороги.

Новое транспортное средство «обратилось» к старым наименованиям. Были использованы и названия предметов конской упряжи, деталей повозок. Так, слово *зобило* (шест, в который впрягается лошадь, бревенчатый рычаг в конном приводе) стало обозначать соединительную деталь локомотива; *хомут* (нашейная часть конской упряжи) — закрытая стальная скоба, стягивающая листы рессоры в одно целое; *дышло* (оглобля, прикрепленная в середине передней оси телеги, коляски) — стержень прямоугольного сечения, служащий для передачи усилия от паровой машины непосредственно ведущей колесной паре паровоза; *шворень* (стержень, служащий вертикальной осью передка повозки) — ось, на которой вращается поворотная тележка железнодорожного вагона.

Органично вошло в русскую железнодорожную терминологию слово *экипаж* (от фр. *équiper*), известное в России еще с XVIII века в значении «повозка для пассажиров». В первой половине XIX века слово *экипаж* обобщает наименование рессорных повозок различных типов, предназначенных для перевозки пассажиров: «[Жена Чертокуцкого] скоро увидела несколько экипажей. Впереди ехала открытая двухместная легонькая колясочка. (...) За нею следовала другая, четвероместная (...) за коляской следовали известные всем полковые дрожки (...); за дрожками — четвероместный бонпояж (...)» (Гоголь, *Коляска*).

По своему значению слово *экипаж* вполне могло выполнять функцию наименования железнодорожного транспортного средства. Однако употребление слова с расширенным смысловым содержанием нередко приводило к тому, что новый термин мог выражать два понятия: *вагон* и *поезд*. Подобная неустойчивость значения термина характерна для этапа становления любой терминологической системы.

В середине XIX века, по свидетельству железнодорожных документов, происходит совпадение значений терминированного слова *экипаж* и заимствованного в 30–40 годах XIX века английского железнодорожного термина *вагон*.

В то время в состав поезда могли входить не только вагоны, но и платформы, на которые устанавливались повозки. Таким образом, пасса-

жиры путешествовали по железной дороге, не выходя из своих экипажей.

Синонимия терминов *экипаж* и *вагон* продолжалась недолго. Уже в 1871 году Словарь иностранных слов И. Ф. Бурдона фиксирует классификационное подчинение понятия *вагон* по отношению к понятию *экипаж*: «Вагон – повозка, тележка. Экипаж, употребляемый на железных дорогах для перевозки как товаров, так и пассажиров».

Очевидно, что в период формирования русской железнодорожной лексики термин *экипаж* мог обозначать понятие *поезд*. Так, в книге «О железных дорогах» (СПб., 1835) П. П. Мельников замечает: «... люди же могут часто иметь нужду или выгоду пользоваться в своих разъездах всею скоростью, какую может сообщить экипажу подвижная паровая машина».

В настоящее время *экипаж* имеет обобщенное понятие как «любая единица подвижного состава». В расширенном значении термин *экипаж* можно встретить и в учебном пособии С. В. Амелина и Г. Е. Андреева: «Соединения и пересечения рельсовых путей – это особые устройства верхнего строения, которые служат для перевода по ним поезда или отдельного железнодорожного экипажа с одного рельсового пути на другие, поворота экипажей на 180°, а также для пересечения путей в одном уровне»; «Ширина колеи должна быть не меньше минимально допустимой, чтобы ходовые части экипажа не заклинивались между наружной и внутренней рельсовыми нитями» (Устройство и эксплуатация пути. М., 1986).

Войдя в терминологию железнодорожного дела в период ее формирования, слова *экипаж*, *дышло*, *хомут* и другие сохранили свою активность и в современной специальной железнодорожной лексике, соединив прошлое и настоящее, протянули нить преемственности между старым и новым в языке.

Санкт Петербург

Запятые при оборотах с союзом *как*

И. И. Степанченко,
кандидат филологических наук

Разбирая один из самых актуальных и потому волнующих абитуриентов вопросов пунктуации, хотелось бы прежде всего обратить внимание на следующее. Речь пойдет о запятой в функции выделяющего, а не отделяющего знака: ведь оборот не отделяется от остальной части предложения одной запятой, а выделяется ими с двух сторон. Во-вторых, уточним понятие оборота: здесь оборот — такая группа слов с союзом *как*, которая не включает в свой состав подлежащее и сказуемое, не является придаточным предложением. Заметим, что последние *всегда* выделяются запятыми внутри главного предложения или *отделяются* от него, если расположены перед ним или после него: «*И в тишине сторожки можно слышать было, как рука нащупывала осторожно задвижку возле косяка*» (А. Ахматова). В-третьих, обороты с союзом *как* не всегда являются сравнительными, отсюда и формулировка темы нашей беседы: не сравнительные обороты, а обороты с союзом *как*.

Теперь рассмотрим три группы примеров:

- I *Он такой, как все.*
Поступать так, как необходимо.
Не кто иной, как наш старый приятель
Не что иное, как лесная сторожка.
Пришли, как и все остальные.
Ребенок ведет себя совсем как взрослый.
Зайти просто как к добрым знакомым.
Думать не как велит традиция.
- II *Вертится как белка в колесе.*
Дом как корабль.
Как град посыпалась картечь.
Закружился на одном месте, как воялок
- III. *Как артист он не пользовался большим успехом.*
Петю, как отличника, наградили ценным подарком.

Довольно сложно догадаться, что объединяет примеры первой группы. Дело в том, что при оборотах с союзом *как* здесь везде есть слова, так или иначе влияющие на пунктуацию: в одних случаях они указывают на необходимость знаков препинания, в других — сигнализируют об обратном. В примерах второй и третьей групп таких слов нет. Что же это за слова? Если внимательно посмотреть на примеры, нетрудно заметить, что при словах *так*, *такой*, *не кто иной*, *не что иное*, а также с союзом *как*

и обороты выделяются запятыми. Слова же *совсем* (просто, именно), не препятствуют постановке знаков.

А как поступать, если слов, перечисленных выше, нет? Посмотрим, чем отличаются друг от друга по значению обороты с союзом *как* в примерах из второй и третьей групп. В примерах второй группы *человек*, который очень занят, сравнивается с *белкой*, вертящей колесо, *дом* сравнивается с *кораблем*, в каком-то отношении сходны *град* и *картечь*, движение какого-то предмета или лица и вращение волчка. В третьей группе *он* не сравнивается с *артистом*, *он* и *артист* — это одно лицо, *Петя* не уподобляется *отличнику*, а является им. Следовательно, по значению обороты с союзом *как* можно разделить на два разряда. Назовем обороты первого разряда (вторая группа примеров) сравнительными, а обороты второго разряда (третья группа примеров) оборотами тождества. Сравнительные обороты и обороты тождества с точки зрения пунктуации выглядят по-разному. Но их нужно научиться различать и анализировать.

Обратимся к примерам второй группы, в которой представлены варианты сравнительных оборотов. В первом примере оборот запятыми не выделяется. Дело в том, что *как белка в колесе* — это фразеологизм, по своему значению он может быть приравнен слову *безостановочно*. Поэтому оборот и не нужно выделять: по смыслу он весь, включая союз *как*, равен слову.

Нетрудно догадаться, почему не выделяется запятыми оборот во втором примере. Разберем его по членам предложения: *дом* — подлежащее, *как корабль* — сказуемое, а подлежащее от сказуемого, как известно, никогда не отделяется запятой.

Третий пример — самый сложный. Давайте подумаем, что с чем здесь сравнивается. В предыдущем примере сравнивались предметы (*дом* похож на *корабль*), здесь же дело не в том, что *картечь* похожа на *град*. Сходны друг с другом не сами предметы, а то, что *картечь* летит так же, как *град*, — густо, в большом количестве. Иными словами, сопоставляется характер действия предметов, их образ действия. Пример, который мы рассматриваем, приводит Д. Э. Розенталь в «Справочнике по правописанию и литературной правке», комментируя его так: основным значением оборота является значение обстоятельства образа действия, оборот может быть в таких случаях заменен существительным в творительном падеже или наречием (*картечь посыпалась градом*).

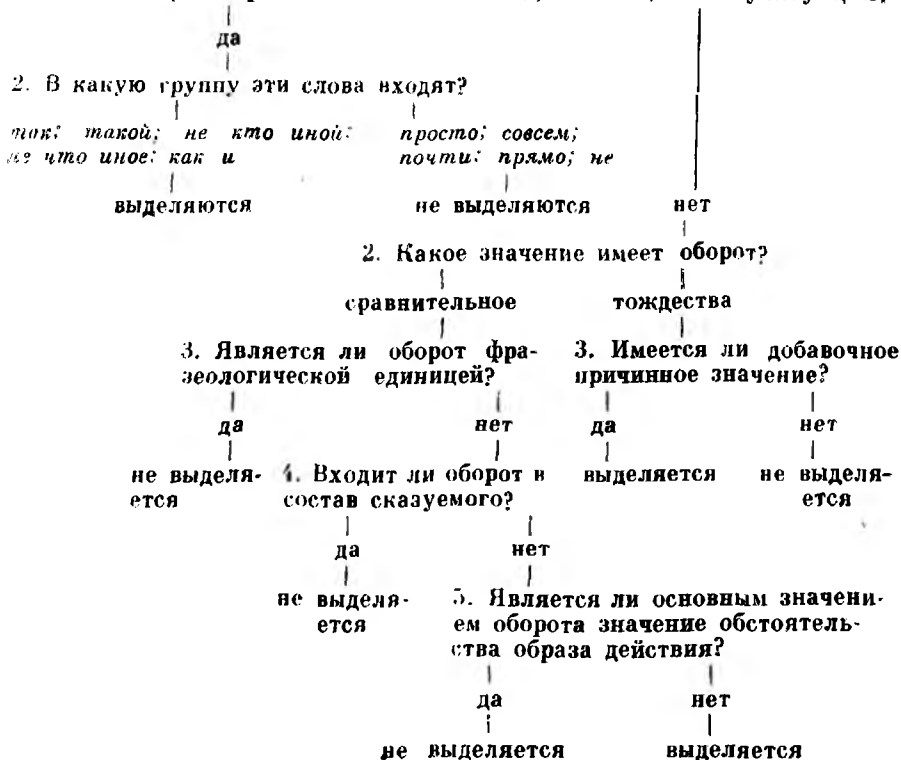
Сложность таких примеров в том, что к замене, о которой идет речь, нельзя отнестись формально. Заменяя оборот с союзом *как* наречием или существительным, мы выявляем именно обстоятельственное значение, т. е. существительное в творительном падеже при этом обязательно должно иметь наречное значение, а творительный падеж, как известно, имеет и другие значения (например, творительный сравнения: *озеро сверкает*, *как зеркало* — *озеро сверкает зеркалом*, где основным значением оборота обстоятельственное значение не является). Эти правила в школе не рассматриваются, и пользоваться ими нужно очень осторожно.

Запомните: во всех остальных случаях сравнительный оборот выделяется запятыми (см. последний пример второй группы).

Обороты со значением тождества оформляются пунктуационно совсем на других основаниях. Проанализируем примеры из третьей группы и попытаемся их заменить синонимичными, чтобы лучше разобраться в особенностях значения тождества. В первом примере возможна такая замена: *он артист, он не пользовался большим успехом*. Во втором — *Петю наградили ценным подарком, потому что он был отличником*, т. е. здесь в отличие от первого примера оборот с союзом *как* указывает на причину действия (ср.: *он не пользовался большим успехом, потому что был артистом* — бессмыслица). Итак, если обороты со значением тождества имеют добавочное причинное значение, они выделяются запятыми, в остальных случаях — нет.

Представим все наши наблюдения в виде схемы.

1. Есть ли при обороте с союзом *как* слова, влияющие на пунктуацию?



Еще один пример: *Петров как рационализатор внес ценное предложение*. Этот пример может быть рассмотрен по-разному, и в зависимости от варианта понимания мы поставим или не поставим знаки. Вариантов может быть, по крайней мере, три: 1) *Рационализатор Петров внес*

ценное предложение (оборот тождества, т. к. *Петров и рационализатор* — это одно лицо, причинного значения нет — запятые не нужны); 2) *Петров внес ценное предложение, потому что был рационализатором* (оборот тождества с дополнительным причинным значением — необходимо пунктуационное выделение); 3) *Петров внес ценное предложение так, как внес бы его рационализатор* (оборот со значением сравнения, т. к. *Петров и рационализатор* — разные лица, *Петров* сравнивается с *рационализатором* — оборот не является фразеологизмом, не входит в состав сказуемого, основным значением оборота не является значение обстоятельства образа действия, следовательно, необходимы запятые). Дать однозначный ответ на вопрос, нужны ли в этом предложении знаки, невозможно. Пунктуация позволяет разграничить на письме различные варианты понимания его смысла. Однако знаки не всегда четко разграничивают их: оборот с союзом *как* выделяется запятыми и в значении тождества, осложненном добавочным причинным значением, и в сравнительном значении. Эти случаи, видимо, могут быть отнесены к так называемой пунктуационной омонимии, при которых за одним вариантом постановки знаков скрываются различные смысловые варианты.

В заключение советуем вам самостоятельно привести примеры к каждому пункту схемы и выполнить тренировочные упражнения.

Харьков